

ПАВЕЛ КУТУЕВ,

кандидат социологических наук, доцент
Национального университета “Киево-Моги-
лянская Академия”

Пролегомены к политической социологии ленинизма

Abstract

Drawing heavily upon Weber's value-free political sociology and Ken Jowitt's vision of Leninism, the paper suggests that Leninist regimes are best conceptualized as a unique blend of charismatic, impersonal and traditional elements. Being a political and ideological response to conditions of national dependency in peripheral societies of traditional bent, Leninism created new political entity — the party as organizational weapon — which was a bearer of impersonal charisma. Application of analytical tool box elaborated by Weber and Jowitt increases our understanding of the internal developmental logic of Leninist regimes while helping to draw a distinction between revolutionary system-building politics of Leninist type and nationalist modernizing regimes of the Third World on the one hand and fascist regimes on the other. The article offers an account of developmental stages of Leninist regimes— transformation, consolidation, and inclusion. The latter stage purpose was to accommodate new, more complex social and cultural environment to regime's demands. Having lost its combat task during inclusion stage, the party entered the period of neotraditionalist routinization of its organizational charisma which resulted in a clash between Leninist status oriented cadres and emergent civic oriented styles of life. Regime's inability to resolve the tension between the two mutually exclusive elements — party cadre and citizen — resulted in “Leninist extinction” and disappearance of Leninism as an alternative life style.

Ленинский бегемот: институциональная и идеологическая организация ленинских режимов¹

Ленинизм как тип общественной организации в пору его наивысшего развития во времена Сталина включал в сферу своего влияния как минимум четверть населения земного шара. В 50–60-е годы, продемонстрировав невиданные темпы экономического роста, он побудил тем самым многих западных исследователей углубиться в теоретизирование относительно кризиса капитализма и возможной конвергенции двух систем. Наконец, будучи вынужден исчезнуть как социальный “вид”, он оставил после себя богатейшее поле для палеозоологов от обществоведения. И тем не менее эта общественная система на удивление мало занимает умы современного академического сообщества — как западного, так и отечественного.

Однако в свое время ленинизм как способ общественной организации, особенно в его сталинской версии, сумел достичь невиданной популярности и вызвать аффективную благосклонность в кругах западных интеллектуалов. Автором фразы “мы обречены на свободу, заброшены в нее” [1, с.485] — квинтэссенции экзистенциалистской теории свободы — и автором заявления “антикоммунист — это грязная крыса” [цит. по: 2, с.X] был один и тот же человек — Ж.-П.Сартр.

Такое нежелание подвергнуть теоретической концептуализации ленинизм как общественную систему тем удивительнее, что “ленинское наследие” продолжает активно влиять как на парадигматические черты постленинизма, так и на способ его развития, оспаривая, таким образом, попытки рассматривать его исключительно в историко-архивном аспекте.

Как я отмечал ранее, адекватное решение общественных проблем невозможно без их предварительной концептуализации [см.: 3]. К сожалению, немногие попытки теоретической рефлексии относительно сущности постленинизма вполне закономерно блокируются отсутствием концептуализации его предшественника — ленинизма — как типа политического режима. Игнорируя “феномен ленинизма” и его наследие, исследователи вынуждены довольствоваться либо сугубо описательным подходом, который провозглашает, что Украина характеризуется наличием “всех (sic! — П.К.) основных “чистых” типов режимов: а) демократического, б) авторитарного, в) диктаторского, г) тоталитарного, д) анархического и ж) охлократического” [4, с.119], либо конструированием нежизнеспособных концептуальных кентавров типа “посткоммунистического неототалитаризма” В.Полохало [5]. Итак, моей целью является попытка постичь — с помощью аналитического инструментария политической, исторической и сравнительной социологии — ленинизм (а в перспективе и постленинизм) как

¹ Этот подзаголовок, безусловно, навеян книгой Иова, которая в свое время послужила источником вдохновения для гоббсовского “Левифана”. Я счел целесообразным воспользоваться символикой описания могущества бегемота как образным эквивалентом идеально-типического анализа ленинизма: “Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. ...Это — верх путей Божих: *только* Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой” (Иов. 40: 10–14).

специфическую социальную форму с адекватными ей политическими институтами и идеологией.

Замечу также, что я сознательно отказываюсь от терминов “социализм” и “коммунизм” в пользу понятия “ленинизм” с целью идентификации общества, идеальный тип которого воплотил Советский Союз. “Коммунизм” и “социализм” являются нечеткими, неоднозначными категориями (так, например, Вебер говорил о харизматическом коммунизме в Спарте [6, с.1120]), слишком абстрактными и не фиксирующими специфических черт анализируемого общества. В отличие от первых двух понятий, “ленинизм” отражает сущность политического выбора, сделанного с помощью партии ленинского типа как организационного оружия (если воспользоваться термином Филиппа Селзника), нацеленного на реализацию идеологического проекта, связанного с теоретическими взглядами, революционной практикой и личностью В.И.Ленина.

На мой взгляд, исследование ленинизма может претендовать на обоснованность его принципиальных положений и выводов только при условии синтетического (что, разумеется, чревато вырождением в тривиальную эклектику) применения наиболее релевантных парадигм и исследовательских программ социологии, включая классические идеи М.Вебера и К.Маркса, неофункционализм, разработки представителей традиции “центральнойности государства” и политическую социологию К.Джавита. Безусловно, этот список далеко не полный и субъективно избирательный, однако он адекватно отражает мои теоретические ориентиры и, вместе с тем, исследовательские интересы.

Основное допущение допущения политической социологии ленинских режимов. Как справедливо заметил один из самых внимательных исследователей ленинских систем Кэн Джавит, “в подавляющем большинстве случаев исторический процесс носит “протестантский” характер, что выражается в многообразии политических, культурных, социальных и экономических институций. Именно поэтому “католические” моменты в истории, когда внутреннее многообразие общественной жизни подчиняется авторитетным и стандартным институциональным формам, таким как ислам, христианство, либеральный капитализм или советский ленинизм, наблюдаются нечасто, имеет неординарное влияние, а потому наиболее значимы” [7, с.VII]. Несмотря на свой относительно короткий жизненный цикл, ленинизм сумел создать стандартизированные институциональные формы, которые, разумеется, с вариациями, отражающими локальные социокультурные констелляции, всегда воспроизводили его организационную идентичность и сущностные измерения.

Применение концепций и теорий сравнительно-исторической политической социологии помогает постичь ленинизм как идеологию, харизматическое политическое движение и институциональную форму, явившиеся попыткой ответить на вызов [подробнее об этих категориях философии истории А.Тойнби см.: 8, с.106–142], обусловленный всей совокупностью обстоятельств национальной отсталости и зависимости, в которых пребывала Российская империя. В то же время ленинизм принципиально отличался от националистических режимов (таких, как К.Ататюрка в Турции или Дж.Неру в Индии), которые также предполагали решение проблем суверенитета и развития/модернизации как ключевой элемент данных проектов. В отличие от статусно ориентированных традиционных обществ,

либерально-капиталистическому Западу присуща безличная, целерациональная, формально-инструментальная и калькулируемая ориентация социального действия. В свою очередь, ленинизм, в отличие от подавляющего большинства национально-освободительных движений и различных форм противостояния мировой капиталистической системе, смог предложить безличную ориентацию социального действия, радикально отличную от легальной рациональности либеральных режимов.

Следует отметить, что хотя акцент на роли “агентности” в революциях оставляет объективные структурные предпосылки революционного кризиса и прихода к власти ленинских партий вне моего аналитического фокуса, это ни в коем случае нельзя трактовать как недооценку их функции для инициации и успеха революционных сдвигов. Наиболее влиятельную “структурно-объективистскую” парадигму трактовки факторов общественных изменений и революций предложила Ф.Скочпол [см. : 9], ученица Барингтона Мура. Обсуждение в деталях аргумента Ф.Скочпол не является задачей этой статьи, однако заметим, что при всей важности и даже необходимости структурных факторов, анализируемых ею в сравнительном исследовании революций, они не схватывают различия между возможными вариантами ответа на схожую структурную ситуацию¹. Фискально-административный кризис государственного аппарата, развивающийся на фоне неблагоприятной международной ситуации, к которой очень часто добавляются поражения или истощение государства вследствие войны, естественно, порождает аналогичную реакцию — революцию — в случаях Франции, России и Китая (имеются все основания добавить к этому выборочному списку и Индию с ее “мирной” революцией), однако способы функционирования постреволюционного режима принципиально варьируют в зависимости от агентов революции. Яркой иллюстрацией данного утверждения служит сравнение стратегий китайских ленинцев и индийских националистов.

Ленинизм не был простой попыткой ускоренной социально-экономической модернизации — в конце концов Российская империя довольно активно проводила именно такую политику. С точки зрения классической парадигмы модернизации причины возникновения и успеха ленинизма остаются непонятными — темпы экономического роста в период премьерства С.Ю.Витте мало в чем уступали сталинской индустриализации [в качестве примера такой оценки см.: 10, с.311], а Румыния смогла бы конкурировать с Италией уже в 50-е годы нашего века (разумеется, если бы “эволюционное” развитие этой страны — которое включало, кстати, и фашистский режим времен Второй мировой войны — не оказалось прерванным “злонамеренным” вмешательством ленинцев) [см. по этому поводу: 11, с.108].

Нельзя не замечать того, что одним из ключевых факторов краха Российской империи оказалась неспособность согласовать политику экономической модернизации с развитием политических структур, являющихся

¹ Аналогичное обвинение в редуционизме и одномерном видении истории можно выдвинуть против самого Б.Мура, исследовательская программа которого предполагала лишь жестко детерминированные альтернативы социального развития, которые сводятся к успешной буржуазной революции, ведущей к капиталистической демократии, неудачной буржуазной революции, следствием коей является фашизм, и крестьянской революции, ведущей к коммунизму.

институциональным эквивалентом современного общества, то есть национального государства, что, в свою очередь, требует развития нации, но “превращение крестьян различных национальностей в “россиян” было не под силу царизму именно потому, что он попытался сохранить структуры и практики империи с ее дифференциацией и иерархиями, привилегиями и неравными возможностями, встроенными в них [структуры и практики], с ее откровенной дискриминацией и эксплуатацией” [12, с.513]. Вне всякого сомнения именно неравномерность политической, культурной, социальной и экономической модернизаций обусловила неудачу эволюционной трансформации “старого порядка” Российской империи в рациональный капитализм либерального толка.

Идеальный тип ленинского режима. Уникальность ленинизма заключалась в том, что он с самого начала был сориентирован как на революционную трансформацию существующих общественных институций, образцов поведения, ценностей и ориентаций, так и на развитие *политической общности*, определения и границы которой менялись в зависимости от стадии развития режима, но социальной основой которой всегда оставались профессиональные партийные кадры [см.: 13].

Именно веберовская методология конструирования идеальных типов легитимного господства, выделение харизмы как движущей силы общественных изменений, как революционной силы, именно отрицание исторического телеологизма/монизма/эссенциализма с помощью понятия “избирательного сродства” оказались релевантными — при определенном развитии и модификации — для анализа ленинских систем и позволяющими понять качественную специфику этого феномена.

Как упоминалось выше, в отличие от традиционных обществ, и ленинские, и либеральные режимы оказались в состоянии выработать безличную систему координат социального действия и институциональной структуры. Но, если возникновение и генезис западного либерально-капиталистического социального порядка неоднократно фигурировали как предмет аналитических реконструкций мыслителей от М.Вебера до И.Валлерстайна, ленинские режимы удостоились гораздо меньшего *теоретического* внимания. Хотя существует изрядный массив литературы, посвященной советской/постсоветской проблематике и предлагающей в целом весьма неадекватные для описания, объяснения и постижения ленинизма концептуальные схемы.

Модели эти можно поместить между двумя полюсами. Одним экстремумом является наивное увлечение “прогрессом” модернизации институций Советского Союза — прогрессом, который должен был завершиться интеграцией СССР (а ныне и его правопреемников) в западный мир [14, с.234; 15].

Более изысканной версией того же тезиса является утверждение о коммунизме как последовательно современной концепции, поскольку он разделял присущее современности “убеждение, что благое общество может быть только тщательно сконструированным, управляемым и последовательно индустриализованным социумом”, а потому “коммунизм был сама модерность в ее наиболее последовательном настроении...” [16, с.166–167]. Иначе говоря, ленинизм создал “советский фордизм” с помощью применения “организационных форм капиталистического фордизма” [17, с.167].

Противоположный полюс представляли “негативистские” модели тоталитарного режима, пребывавшего в перманентном состоянии дегенерации и в конце концов закономерно прекратившего свое существование [18].

Эпистемологической почвой обеих позиций служило стремление западного академического сообщества сделать предмет своего исследования — ленинизм — интеллигибельным для остальных обществоведов и таким образом включить его в господствующий дискурс общественно-политических исследований, фокусирувавшихся главным образом на модернизации, индустриализации, массовом образовании, моделях лидерства — на тех проблемах, которые с легкостью можно было рассматривать в любом лекционном курсе или исследовании, посвященном политике США и Западной Европы.

Но, как отмечал Л.Троцкий — мыслитель, которого британский социолог Боб Джесоп ставил в один ряд с такими представителями классического марксистского дискурса о государстве, как Маркс, Энгельс, Ленин и Грамши [19, с.25], очень часто такая попытка “спастись от незнакомых явлений с помощью знакомых понятий” [20, с.245] продуцирует ошибочную интерпретацию феномена.

Спецификой ленинизма, ключевой для интеллектуального постижения факторов сначала его распространения в мировом масштабе как институционального образца и образа жизни, а затем неожиданного исчезновения, была выработка *безличной харизматической ориентации*. Харизматическая внеличностность идентифицировалась с партией профессиональных революционеров — партией, носившей характер организационного оружия и пытавшейся разрушить ценности, институциональные структуры и образцы поведения, которые воспринимались революционной элитой как порождающие или поддерживающие альтернативные ленинскому режиму центры власти. Таким образом, “революционный подход отличается стремительностью, системным характером и целенаправленным использованием насилия... ради минимизации своих обязательств перед существующим обществом, а также, по возможности, предотвращения определения контрэлит в политически релевантных терминах” [13, с.9], а масштаб и характер поставленных задач делает “цель революционера столь же сложной, сколь и цели реформиста” [13, с. 17]. Иначе говоря, природа партий ленинского типа состояла в стремлении (во многих случаях безуспешном) “к эффективному политическому внедрению в общество и заключению его в новые, эксплицитно политические формы” [13, с.17].

К.Маркс подчеркивал необходимость эмпирического, историко-сравнительного исследования капитализма для открытия естественно-исторических закономерностей его функционирования и, таким образом, обеспечения научного фундамента для революционного действия, призванного свергнуть капиталистический строй и трансцендировать человечество за пределы безличных формально-легальных институций буржуазного общества с его подчиненностью линейной темпоральности.

Революционный разрыв с прошлым, которое ассоциировалось с идеей линейного времени (последняя сыграла чрезвычайно важную роль в замене традиционного социального порядка современным капиталистическим строем), — этот разрыв по стилю своего дискурса был идентичен христианской эсхатологии и также предполагал реализацию трансцендентного проекта, но в пределах светской деятельности, в отличие от ориентации на Град Божий теологических систем [21; 22].

Революционным нововведением Ленина было создание политической институции, способной воплотить ленинскую интерпретацию теоретического проекта Маркса; такой институцией стала партия большевиков, то есть организация профессиональных революционеров. Как отмечает Стивен Хансон, “будучи как “профессионалом” (то есть подчиняясь дисциплине времени), так и “революционером” (постоянно готовым к харизматическому действию), член партии большевиков имел возможность действовать, опираясь на обе грани марксистской идеи харизматически внеперсонального времени” [21, с.38]. Именно такой взгляд на харизму предлагал и Макс Вебер, который подчеркивал, что харизма выходит за пределы рутины повседневной жизни [6, с.1117]. На первый взгляд идея харизматической безличности может показаться противоречием в определении, ведь Вебер настаивал, что “харизма радикально отличается от бюрократической организации, поскольку не знает каких бы то ни было формальных и регулярных правил назначения и увольнения с должностей, не признает идеи карьеры, постоянных институций...” [6, с.1112]. Однако Вебер сам указал направление, в котором понятие персональной харизмы может трансформироваться в безличную харизматическую институцию, когда сделал акцент на таком качестве харизматического лидера, как способность совмещать такие элементы поведения и мировоззрения, которые традиционно рассматривались как взаимоисключающие: “Вера в харизму революционизирует индивидов “изнутри” и формирует материальные и социальные условия согласно своей революционной воле” [6, с.1116].

Сошлемся на Л.Троцкого. Хотя и на подсознательном уровне (отметим, что именно вследствие *вынужденности* такого признания, которое репрессировало его суперэго, характеристики ленинского режима Троцкий являются экспрессивными образами, отдельные элементы которых приобретают самостоятельное значение, становятся механически обособленными/одномерными и не создают концептуального/образного синтеза; наиболее яркой параллелью такому стилю дискурса может служить живопись австрийского художника Эгона Шиеле), Троцкий подтверждает безличную природу харизмы большевистской партии, когда констатирует, что только “помощь безличной машины” (аппарата) партии привела Сталина к власти [23, с.XV]. В то же время он ярко демонстрирует *харизматическое* качество партии и свое восприятие ее как единственно возможного средоточия рациональной политической идентификации и аффективной преданности (таким образом, опять-таки подсознательно, раскрывая механизм ее возможной традиционалистской трансформации/дегенерации), когда эмоционально провозглашает, что “по-видимому, партия всегда права... Мы можем быть правы только с партией и с помощью партии, поскольку история не создала никакого другого пути, чтобы избрать правильную позицию” [цит. по: 24, с.40].

Парадигматический пример харизматических лидеров, к которому зачастую обращается историческая социология, это, конечно же, Иисус Христос, который создал новую организацию — христианскую Церковь — посредством революционного переформулирования и соединения принципов иудаизма с миром язычества. Как пишет Кэн Джавит, “для компаративиста (в отличие от теолога) инновация Иисуса заключалась в соединении — причем вдохновляющем — ранее взаимоисключающих элементов. Он создал новое средоточие членства и идентификации” [7, с.2]. По мнению Джавита, то же самое осуществил Гитлер, когда соединил традиционный

немецкий национализм с “арийским” расизмом и сделал возможным институционное воплощение новой революционной идеологии — нацизма (ярким примером трансформации национализма, вплоть до его отрицания арийским расизмом есть противопоставление “арийца” Шекспира — обычно с помощью конъюнктурной интерпретации нацистскими теоретиками его происхождения и художественного мировоззрения — гуманистическому универсализму и индивидуализму немца Ф.Шиллера [25, с.333–334]).

Ленину удалось переформулировать фундаментально противоположные явления: “понятие индивидуального героизма и организационной величественности” [7, с.3] — в новую форму организационного героя — партию большевиков (ярким примером такого совмещения несовместимого является ленинская идея демократического централизма). Следовательно, ленинская инновация заключалась в создании организации и принципов членства в ней, направленных на реализацию конфликтных практик: “командования и покорности при наличии дебатов и дискуссий; веры в неумолимые законы исторических изменений и эмпирического исследования общественного развития; героических поступков и последовательной ориентации на научное и “трезвое” управление экономикой и обществом; акцентирования индивидуального революционного героизма и чрезвычайного безличного авторитета Партии, которая сама является и главным героем-деятелем и центром эмоциональной преданности” [7, с.3].

Категория безличной харизмы позволяет также провести четкую линию между ленинизмом и нацизмом как политическими движениями (несмотря на то, что “культ личности” Сталина ничем не уступал статусу Гитлера). Однако гораздо важнее, с точки зрения идеологических принципов и структуры партийной организации, был сталинский культ кадров, парадигматически-лапидарно сформулированный самим Сталиным в словах “кадры решают все”. Исходя из принципов, очень напоминающих установки нацизма, партия рассматривалась как иерархическая организация “героев” (это объясняет типичные для Сталина параллели между партией большевиков и рыцарским орденом или средневековой крепостью [26, с.43]). Вместе с тем, это не отрицает, а, наоборот, подчеркивает ключевое различие между нацизмом и ленинизмом: будучи оба харизматическими политическими движениями, один — нацизм — отличался харизматичностью фигуры лидера, тогда как другой — ленинизм — предполагал харизматичность прежде всего своей политической программы и лишь как возможное следствие этого — лидера.

В эмпирическом смысле эти различия прослеживаются на уровне организации лидерства — нацизм с самого начала конституировался как движение, подчиненное “вождю” (так называемый *Fuhrerprinzip*); что же касается ленинизма, то здесь даже Сталин был бессилен формализовать аналогичный статус, которого он *de facto* достиг. В наивысшие моменты “культа личности” “формальный, или идеальный базис ленинской партийной организации, определение принципов членства и формирование политики оставались вне компетенции Сталина” [7, с.8]. Это не противоречит самоочевидному факту наличия *персональной* харизмы как у Ленина, так и у Сталина. Однако следует заметить, что именно персональная харизма лидеров создавала угрозу Партии как первичному источнику и носителю харизмы. Даже добавившись для себя неограниченного султанистского господства (которое, согласно Веберу, характеризуется тем, что административный и военный аппарат становятся “персональными инструментами правителя...”

[6, с.231]¹), Сталин был вынужден идти на уступки институциональной харизме партии, что нашло выражение в понятии “правильной линии”: “безусловно, правильная политическая линия является первоочередным и важнейшим вопросом” [28, с.373–374]. “Правильная линия” партии не тождественна программе политической партии, действующей в координатах либерального режима; эта категория является “аналитическим и эмпирическим отображением стадий национального и международного развития, набором политических ориентиров и одновременно авторитарно-обязательной и исключительной по своему статусу политико-идеологической программой, которую следует принять и которой необходимо придерживаться” [7, с.10].

Концептуализация ленинизма была бы неполной без рассмотрения динамики взаимодействия между харизмой и традицией в развитии режимов этого типа. Ленинизм, возникший как реакция на условия национальной зависимости в традиционалистских статусных обществах (тённисовских общностях или периферийных и полупериферийных странах в терминах мир-системного анализа), предложил программу развития, которая означала атаку на “предписательный” (ascriptive) характер обществ, будучи вместе с тем противоположной по своему содержанию формально-классовой социальной дифференциации Запада². Применение парсонсовской категориальной матрицы позволяет увидеть, что случаи несбалансированной дифференциации отнюдь не единичны (наиболее очевидным примером может служить Япония) — в такой ситуации дифференциация институционализируется в пар-

¹ Следует отметить, что веберовская концепция султанства, творческому использованию которой в современной политической социологии и сравнительной политике положил начало К.Джавит, переживает сегодня возрождение среди западных обществоведов благодаря работам Хуана Линца и Альфреда Стипена [26; 27]. Хотя труды Линца предполагают несколько суженное понимание султанства как режима, предполагающего лояльность по отношению к правителю безотносительно к его персональной, харизматической или идеологической квалификации, мотивирующую страхом в сочетании с ожиданием награды за сотрудничество [27, с.7], эвристичность этой концепции (особенно в ее классической версии Вебера/Джавита) для исследования широкого спектра политических режимов бесспорна.

² Дисциплинирующая роль инструментальной рациональности капиталистического космоса, которая приобретает черты “стального панциря” (М.Вебер), блестяще проанализирована — начиная с “Социальной дифференциации” Г.Зиммеля и заканчивая недавно изданным исследованием “труда в условиях капитализма” Чарльза и Криса Тилли [29]. Во избежание неоднозначности, связанной с веберовской метафорой “стального панциря” капиталистического порядка, которую в англоязычной социологической традиции (благодаря переводу “Протестантской этики” Т.Парсонсом) обычно интерпретировали как “железную клетку”, следует сделать краткую экзегезу веберовского пассажа. Исследование британского социолога Дэвида Челкрафта убедительно продемонстрировало, что Вебер имел в виду именно “панцирь (имеется в виду панцирь улитки, а не элемент доспехов. — П.К.) / жизненное пространство, в пределах которого осуществляется человеческая деятельность и формирование ценностей... Индивид рождается в огромном мире капитализма, но переживает его на индивидуальном уровне. Панцирь, твердый как сталь, создает микроокружение, в рамках которого индивид развивает собственный панцирь своего бытия. ... Чем сильнее ощущается стальной панцирь на индивидуальном уровне, тем меньше автономии имеется для развития альтернативных стилей жизни внутри системы” [30, с.31].

тикуляристском духе, когда “менее обобщенные” ценности/логика одной дифференцированной сферы вытесняют ценности/логику других подсистем. Так, японская “модернизация” способствовала интеграции общества не посредством обобщения ценностей, а через адаптацию партикуляристского, патриархального этоса, навязываемого другим подсистемам, в том числе и экономической. Несмотря на антитетический характер харизматического и традиционного господства, оба эти чистые типы могут смешиваться, поскольку “их власть вытекает не из соблюдения целерациональных правил, а из веры в “святость” власти индивида... Как харизма, так и традиция опираются на лояльность и обязанность, которые всегда имеют религиозную ауру.

Внешние формы этих двух структур господства очень часто подобны, если не идентичны. Иногда трудно определить, каков характер окружения военного главаря — патримониальный или харизматический; последнее зависит от *духа*, которым проникнута общность, а это означает зависимость от того, каковы основания претензий правителя на легитимность: освященная традицией или основанная на вере в личность героя власть. Переход между ними может оказаться чрезвычайно легким” [6, с.1122].

Применение веберовских идей к контексту ленинизма координирует две взаимосвязанные проблемы — “совместимость” безличной харизмы партии с традицией в процессе политической мобилизации, с одной стороны, и возможность “атаки” на институционный и социокультурный базис статусных обществ — с другой. Как новаторски заметил Джавит, “харизматический лидер или организация получают возможность проникновения внутрь общества, которое они хотят разрушить и трансформировать благодаря присутствию *традиционных* (курсив мой. — П.К.) качеств, формально-конгруэнтных с определенными измерениями крестьянского статусного общества... Маловероятно, чтобы видение харизматического лидера получило поддержку большинства общества... поскольку оно является революционным и предполагает фундаментальный пересмотр идентичности и организации индивидов и групп” [7, с.14]. Для достижения критической массы последователей, достаточной для осуществления радикальных изменений в условиях революционной нестабильности, харизматик не только нуждается в наличии социальных групп, готовых к мобилизации, но еще и обязан продемонстрировать собственную “совместимость” с обществом, которое он призван трансформировать. Если мы снова обратимся к классическому примеру Гитлера, то увидим, что именно опыт участия в Первой мировой войне сделал его замыслы интеллигидельными для традиционно настроенных немецких националистов и военных, а получив социальную почву для воплощения своего плана трансформации общества, Гитлер достиг результатов, которые оказались, по сути, прямо противоположными представлениям националистов¹.

Ленину удалось вписаться в традиционный контекст российской истории благодаря своей органической связи с “революционно-демократическим”

¹ Последнее утверждение не отрицает того, что харизматик очень часто является маргинальным индивидом, страдающим комплексом нарциссизма, и выступает носителем стигмы (эту идею предложил профессор Венского экономического университета Йоханес Штаер в беседе с автором. — П.К.).

наследием в целом и идеями Петра Ткачева в частности¹. Более того, ленинизм наиболее последовательно и наиболее эффективно синтезировал статусные (традиционные) и классовые (современные) элементы в рамках своей харизматически-внеличностной организации. Однако традиционные черты ленинизма скорее формальные и структурные, чем содержательные². Организационной чертой ленинизма, противостоящей “крестьянской социальной организации, является современная ориентация Партии на социальный класс” [7, с.17]. Ориентация такого типа предполагает акцент на индивидуальной ответственности членов партии за выполнение задач, принцип “достижения” в противоположность “предписаниям” как главный критерий мобильности и наличие ощущения персональной причастности к свершениям партии. В идеале деятельность ленинской партии должна отличаться менее ритуальным (магическим, в терминах Вебера) и более эмпирическим характером.

Впрочем, харизматически-внеличностные измерения ленинской организации существенно отличаются от формально-инструментальных норм современных либеральных режимов — основы ленинизма призваны ограничивать и определять развитие современных, дифференцированных по формальным классовым признакам элементов. “Таким образом, — постулирует Джавит, — индивидуализм находит свое выражение в неокорпоративной форме коллектива (партийная ячейка, трудовой коллектив); принцип достижения как основа и императив постоянно вступает в противоречие с харизматическими основаниями членства в партии; научный социализм в его эмпирической, абстрактной и критической направленности противостоит концепции научного социализма как постижению неумолимых универсальных и линейных законов истории. Ленинская партия и режим конституируют новаторский *синтез* (курсив мой. — П.К.) харизматических, традиционных и современных элементов, переформулируют определение и связи между этими элементами таким образом, что это позволяет партии объединять безличные и аффективные элементы и эффективно, если не логично, апеллировать к определенным индивидам и группам в нестабильном общественном окружении; причем эти индивиды и группы сами являются конгломерат героических, статусных и светских ориентаций” [7, с.18–19].

Ленинизм стремился к реализации этого инновационного синтеза как на уровне элит (достаточно обратиться к оценке Ленина Хо Ши Мином, который видел в нем великого лидера — “big man” культурной антропологии юго-восточноазиатских традиционных общностей, вместе с тем сумевшего

¹ “Революционер не готовит, а *делает* революцию”, — так сформулировал свое кредо П.Ткачев [цит. по: 31, с.196]; по-видимому, деятельность ленинской партии является парадигматическим воплощением этого идеала.

² Я использую классическую веберовскую дихотомию содержательной и формальной рациональности: “термин *формальная рациональность экономического действия* используется для обозначения степени количественной калькуляции или учета, технически возможных и применяющихся в действительности”; вместе с тем термин “содержательная рациональность” употребляется в случае, когда экономически ориентированное социальное действие совершается под влиянием абсолютных ценностей. Таким образом, результаты действия в последнем случае оцениваются по шкале “ценностной рациональности” [7, с.85].

стать “big man” нового типа), так и на уровне масс¹. Овладение массами осуществлялось посредством внедрения стандартизированных образцов взаимодействия формально равных индивидов — интеракции, в идеале призванной занять место персонализированных отношений тесно связанных между собой “друзей”. Интуитивно почувствовал угрозу своему режиму со стороны автономной “борьбы за признание” [подробнее об этой концепции А.Хонета см.: 33], ленинцы стремились практически реализовать теоретическую модель тоталитарного господства в духе Х.Арендт, которая сущность последнего понимала как мобилизацию атомизированных индивидов, объединенных в деполитизированные массы: “Тоталитарное правление не просто лишает людей способности к действию, оно скорее... превращает их — так, будто они на самом деле составляют единую личность — в соучастников всех действий и преступлений, совершаемых тоталитарным режимом” [цит. по: 34, с.80]. Такие меры стимулировали ориентацию на социальную роль индивида как отчужденную от ее носителя и тем самым усиливали как автономию ленинского режима относительно общества, так и “комбинаторный” контроль над индивидами. Майкл Херцфельд блестяще продемонстрировал взаимосвязь между политическими патронами и их клиентами в традиционных обществах, где социальное действие построено по схеме “лояльность обеспечивает защиту и защита обеспечивает лояльность” [35, с.175]; ленинизм попытался радикально разрушить именно такую взаимозависимость режима и его подданных. Ленинизм пошел значительно дальше деспотизма в его токвилевском понимании, согласно которому “в силу своей природной подозрительности [деспотизм] усматривает в изоляции подданных наилучшую гарантию своего вечного существования. Поэтому он обычно делает все возможное, чтобы изолировать их. ...Деспот с легкостью простит своим подданным отсутствие любви к нему при условии, что они не любят никого другого” [36, с.509]. Ленинские режимы предполагали, требовали и эффективно осуществляли переориентацию эмоциональных и аффективных привязанностей индивида от персональных связей в направлении партии.

Ленинизм и проблема революционной трансформации традиционалистских общностей. Одно из парадоксальных качеств ленинизма, которое, пожалуй, более всего благоприятствовало мобилизационным усилиям режимов этого типа и их адаптивной способности, состояло в том, что ленинизм — как способ анализа общества и стратегия политического действия — опирался на методологические принципы, которые мы вслед за Вебером можем квалифицировать как гениальную ошибку — вещь, как известно, “более плодотворную для науки, чем идиотская аккуратность” [37, с.40]. Комментируя влияние “Коммунистического манифеста” на общественную мысль, Вебер находит дальнейшее подтверждение своему тезису: “...даже те положения манифеста, что ныне отвергаются нами, заключают в себе вдохновенную ошибку, чреватую далеко идущими и не всегда приятными по-

¹ Антропологи так определяют условия, при которых “big man” играет ключевую роль: “Лидер создает вокруг себя сеть патронажных отношений... Общество опутано сетью этих отношений, каждый его член — патрон, клиент или и то и другое вместе; именно эти узлы межличностных в своей основе патерналистских связей, вероятно, и восполняют “пробелы” структурированности (курсив мой. — П.К.)...” [32, с.17].

литическими последствиями. Они повлияли на развитие науки более плодотворно, чем множество исследований, основанных на нетворческой корректности” [38, с.288].

Ортодоксальная марксистская интерпретация процессов общественных изменений в периферийной, крестьянской стране логически вела к экономическому редукционизму в объяснении социальной дифференциации крестьянства. Вебер неоднократно высказывал свое восхищение релевантностью марксистского анализа при условии использования его категорий как идеальных типов, но все-таки считал необходимым указать на опасные последствия последовательного применения монизма исторического материализма: “Как мы уже отмечали, группы, полностью отрешенные от экономических детерминантов, встречаются чрезвычайно редко. Впрочем, степень этого влияния может существенно меняться, но главное в том, что экономическая детерминация социального действия остается весьма нечеткой — в разрез с предположениями так называемого исторического материализма. ... Было бы ошибкой даже принять точку зрения относительно “функциональной” связи между социальными структурами и экономикой. Это утверждение невозможно обосновать как историческое обобщение, поскольку формы социального действия подчиняются “своим собственным законам”... более того, в каждом конкретном случае они могут быть детерминированы и другими, отличными от экономических, факторами. Вместе с тем, мы можем обобщать степень *избирательного сродства* (курсив мой. — П.К.) между конкретными структурами социального действия и конкретными формами экономической организации...” [6, с.341]. Абсолютно вразрез с идеей классовой борьбы между разными слоями крестьянства (кулаками и бедняками) сельские общины функционировали как домохозяйства, в которых имела место скорее вертикальная интеграция и социальная мобильность, нежели классовый конфликт. Ленинцы ошибочно восприняли статусные различия как классовые: экономическая дифференциация рассматривалась как “свидетельство социальной поляризации и наличия “классового союзника”” [7, с.27]. Тем не менее, эта ошибка не помешала ленинским партиям реализовать на практике мечту националистических реформаторских и модернизаторских режимов в странах третьего мира: “ленинцы предпринимают атаку не просто на элиты крестьянского общества, а на его институциональные основы” [7, с.27]. Процесс, о котором идет речь, гораздо сложнее традиционной политико-экономической интерпретации этого феномена: “...кулак — отнюдь не некто враждебный крестьянской общине; это ключевая фигура в домохозяйстве и сельской системе социальной идентификации, организации и власти. Ленинизм ошибочно понимает характер и роль кулака, однако таким образом, что это подводит к применению стратегии и политики, подрывающих кулачество, крестьянское домохозяйство и сельскую общину как определяющие институты крестьянского общества, основанного на статусных взаимоотношениях” [7, с.28]. Политика коллективизации имела целью не только экономические преобразования, но замену корпоративной группы как общественной и культурной основы социального действия и идентичности (последнему служат также политика индустриализации и программы массового образования).

Реформаторский подход к изменениям в аграрной сфере (причем данная оценка касается довольно разных по своим идеологическим пристрастиям деятелей — таких как Бухарин, Ататюрк, семья Неру-Ганди; общими для них есть ориентация на парадигму постепенно-модернизаторских стра-

тегий) — это, безусловно, тот фактор, который способствует эволюции социальной организации статусного общества в направлении его коммерциализации. Но главная проблема такого выбора всегда сводилась к его ограниченности (реализации в локальном, а не общенациональном масштабе) и ориентации на замену сельских элит вместо разрушения институциональных образцов, в границах которых действуют корпоративные группы статусного типа. Как результат, модернизаторские режимы (Индия и Турция могут служить идеально-типичными примерами) вынуждены функционировать во фрагментированном и демобилизованном социальном окружении. У К.Джавита можно найти меткое определение социальных форм, возникающих вследствие реализации реформаторских проектов “неомеркантилистским государством-обществом.., основой которого остается персонифицированное, стереотипизированное и фрагментированное разделение труда”¹ [7, с.29–30]. Более того, заметим, что отказ от революционного наступления на социокультурные (а не только политико-экономические) механизмы традиционного статусного общества отнюдь не способствовал “врастанию” кулака в социализм, как этого ожидал Бухарин и его сторонники; скорее наоборот, социально-экономические агенты неомеркантилистского общества стали “успешно использовать новую организационную форму, предлагаемую партией, ради расширения и защиты социальных и культурных измерений... корпоративно организованного общественного порядка” [7, с.30–31], что радикально замедляло трансформацию статусного общества в классово-стратифицированное².

Ленинским режимам, в противоположность большинству националистических реформаторских режимов стран третьего мира, удалось успешно свести статусные практики и ориентации к неформальному уровню и защитить, тем самым, формальные институты и цели новой политической общности. Антропологическое исследование крестьянских общин Трансильвании почти четверть столетия после осуществления коллективизации румынским ленинским режимом продемонстрировало тот факт, что даже в тотально отличном контексте крестьяне склонны проявлять большее уважение к бывшим “кулакам” и священникам, чем к партийным функционерам или председателям коллективных хозяйств; но подобное поведение не имело

¹ Американский компаративист Дж.Мигдал описал ситуацию, когда государство не в состоянии осуществить модернизационную “революцию сверху”, в терминах “сильное общество — слабое государство” [39].

² В свете последнего утверждения уместно предложить разъяснения применения термина “классовое общество” и его противопоставления статусному характеру традиционных общностей. Ником образом не отрицая существования классов в традиционном обществе, я делаю ударение на политико-юридической и культурной формах репрезентации и самосознания, которые и превращают ту или иную социальную группу в некую “воображаемую общность”. Если идеально-типичный *Gemeinschaft* является “органическим” признаком общества традиционного типа, то класс — это продукт “воображения”, порожденного современным либерально-капиталистическим социальным порядком. Как тонко подметил Э.Тириакаян, “использование печатного капитализма ради создания “воображаемой общности” — основной тезис Андерсона — в равной мере применимый к использованию радикальной прессы в развитии классового сознания английского рабочего класса...” [40, с.178].

особого значения в политико-экономическом смысле, будучи “скорее фактом частного срезания социальной жизни, чем (как это было в прошлом) интегральной составляющей и проявлением определенного типа социокультурного порядка” [7, с.38]. Тем не менее внедрение и навязывание обществу новых институций ленинскими режимами привело к формированию не процедурной рациональности, присущей “дискурсу модерна”, а харизматически-неокоorporативистского варианта классового общества, которое, вне всякого сомнения, характеризовалось принципиально более высокой степенью социальной и ресурсной мобильности как индивидов, так и режима в целом. Под неокоorporативистским обществом я имею в виду такую социальную организацию, которая опирается не на индивида как экономического агента и гражданина, действующего в рамках рынка и публичной сферы, а на набор институций (вроде “народных фронтов”, объединявших “дружественные” ленинцам партии, официальных профсоюзов, колхозов и т. п.), обязательно имеющих официально-политический статус. Таким образом, в противоположность современному характеру развития (предполагающему структурную дифференциацию аналитически обособленных сфер — публичной, частной и официальной [41, с.10]), ленинские режимы требовали полного растворения публично-политической сферы в официальной (поскольку режим допускал только один возможный *очаг* политической деятельности — партию).

Идеально-типологическая концептуализация ленинизма как политического режима, предложенная Кеном Джавитом, делает возможным рассмотрение этого феномена “как исторического и организационного синдрома, охватывающего политическую организацию, опирающуюся на харизматическую внеличностность; основанную на “гениальной ошибке” политическую стратегию, нацеленную на коллективизацию-индустриализацию; и международный блок во главе с господствующим режимом с теми же характеристиками, что и у его составляющих; последний выполняет функции лидера, модели и оплота” [7 с.49]. Другой типологической чертой такого режима является системный характер его политики, направленной на противопоставление элитных слоев остальному обществу в сочетании с широким применением принуждения и насилия и монополизацией публичной¹ сферы. Именно “успешная” реализация ленинскими режимами своих программных принципов и заложила основания дегенерации их политической сис-

¹ Сравнительно-исторический анализ позволяет адекватнее оценить специфические черты ленинизма как “исторического индивидуума” и его уникальную “эффективность” (разумеется, с точки зрения его собственных критериев и целей). Именно поэтому было бы ошибочным рассматривать ленинские “тирании” как опирающиеся исключительно на гоббсовский принцип силы и обмана и являющиеся его парадигматическим воплощением. “Нет никаких сомнений в том, — заостряет свою позицию К.Джавит в полемике с С.Хантингтоном, — что манипуляция и насилие со стороны революционных групп, жаждущих власти или пребывающих при ней, бессильны адекватно объяснить революционные движения. ...Мы не можем игнорировать мастерство политических навыков Мао, Кастро, Тито или даже Ким Ир Сена по *завоеванию поддержки* (разного рода, в разные времена, от разных групп, для разных форм политики). ... Исследователь, столь же “чуткий” к революции, как Хантингтон к реформе, мог бы перефразировать утверждение Хантингтона о том, что “революционер предлагает несгибаемость в политике, а реформатор гибкость и адаптивность”, в следующий постулат: “революционер предлагает четкость в политике, а реформатор — путаницу и оппортунизм” [13, с.17–18].

темы и последующего исчезновения их как социального “вида”. Вместе с тем, тождество идеи либерально-демократического капитализма отнюдь не означает, что и ленинская, и капиталистическая модели развития периферийных обществ одинаково далеки от гуманистических идеалов и в равной мере чреватые трагическими общественными катаклизмами глобального масштаба¹.

Стадии развития ленинских режимов: от трансформации к неотрадиционалистской интеграции

Исследование ленинизма как особой разновидности харизматической институции нельзя ограничивать конструированием идеального типа такого режима и следует дополнить историко-социологическим анализом стадий развития, которые определяли характер организационных и идеологических конфигураций каждого периода существования этого режима и были общими — типологически, а не хронологически — для всех стран ленинского блока. Идентификация стадий развития ленинских режимов необходима для лучшего понимания не только их внутренней динамики, но и взаимодействия между режимами, относящимися к различным ступеням развития (СССР и Китай, например).

Кен Джавит идентифицировал три стадии развития, присущие ленинизму, и связанные с каждой из них перспективные задачи режима: “первая — трансформация старого общества; вторая — консолидация революционного режима; третья ... включение (хотя Джавит предпочитает именовать эту стадию “включением”, я больше склоняюсь к термину “интеграция”, что, по моему мнению, более адекватно отображает суть процессов, которые происходят во время этой фазы ленинизма. — П.К.): попытка партийной элиты раздвинуть внутренние границы политической и производственной систем режима, усовершенствовать его систему принятия решений, интегрироваться с неофициальными (например, неаппаратными) секторами общества и отказаться от жесткой изоляции от общества” [7, с.88].

Каждой стадии отвечает определенная структура режима и его ключевая задача; оба момента развиваются соответственно общественному окружению, в котором функционирует режим.

Безусловно, наиболее релевантной для нашего обсуждения является последняя стадия режимов ленинского типа — интеграция, поскольку она, с одной стороны, предшествовала исчезновению ленинизма как политического типа, а с другой — детерминировала (и продолжает оказывать свое

¹ Этот “арифметический” подход не является моральной легитимацией ни одного из путей развития; в конце концов обе модели являются утопиями, потерпевшими крах из-за одной общей черты: как либеральная утопия саморегулирующегося рынка, так и социализм с его синтетической утопией рационально организованного общества свободных производителей — оба “пытаются придать тотальность единственной модели “рационального” общества... объединяющегося вокруг одной-единственной ценности: негативной свободы в первом случае и содержательного равенства — во втором. ... С точки зрения демократической политики обе эти утопии должны были и действительно стали внушать “недоверие” еще до того, как были обнаружены их катастрофические последствия” [42, с.452–453].

влияние) развитие постленинских режимов. Более того, последние можно рассматривать как логическое завершение тенденций, наметившихся во время интеграционной стадии ленинизма (впрочем, это утверждение не носит универсального характера, если учесть иной раз диаметрально противоположные траектории общественных изменений в странах постленинизма; очевидно, релевантность данного тезиса ограничивается республиками бывшего СССР, пребывавшими в сфере ленинского господства на протяжении 70 лет¹). Однако две первые стадии — трансформация и консолидация — требуют краткой характеристики с целью сопоставления и противопоставления этих ступеней развития ленинизма.

Трансформация и консолидация: от революционного прорыва к построению политической общности. Основная задача трансформационного режима состоит в попытке полностью уничтожить или радикально изменить ценности, структуры и поведение элит, понимаемые ленинской партией как порождающие либо способные породить альтернативные центры политической власти. Трансформация предполагает конфликт между режимом и обществом, подлежащих реконструированию.

Острота социально-политических условий, при которых большевики пришли к власти, требовала от партии реагирования на конфликтные императивы как внутри партии, так и *vis-a-vis* общества. Внутри самой партии это формулируется как требование примирения централизма с автономией партийных деятелей на местах; относительно общества партия имеет не лишь добыть социально-политическую поддержку, а и контролировать ее. Такая констелляция факторов приводит к повышению организационного влияния индивидуальных кадров — “харизматиков” (пример — герои гражданской войны), а также к поиску альянсов с социальными слоями, стратегически важными для победы над “классовым врагом” (временный союз с военно-политической организацией крестьянства — махновцами — эмпирическое подтверждение этого тезиса). Трансформационные режимы метафорически можно сравнить с военным лагерем, и образ бронепоезда Троцкого прекрасно отражает эту аналогию [см.: 44, с.271].

Сопоставление революционных режимов с реформаторскими политическими движениями опять же помогает высветить неповторимые черты трансформационной стадии ленинизма — мы можем отличать эти типы режимов по степени готовности к “переговорам, компромиссам и инкорпорации традиционных элементов на момент полной трансформации их социальной, культурной и политической роли. ...Революционные режимы пытаются перечеркнуть структурную целостность традиционных элемен-

¹ Я позаимствовал дихотомию сорокалетних и семидесятилетних ленинских режимов у Э.Гелнера, который подчеркивал, что это “различие существенно влияет на природу социальной памяти: “сорокалетние” обладают острым ощущением того, что такое “иной” мир, тогда как “семидесятилетние” почти полностью утратили его. Они не имеют представления об “ином”” [43, с.283]. Впрочем, каузальная связь между жизненным циклом ленинского режима и его последствиями для структуры общества предполагает и противоположную интерпретацию — долговременность ленинского правления в некоторых странах может объясняться влиянием доленинских социокультурных и институциональных факторов. Я признателен профессору Я.Ковачу (Institute for Human Science, Vienna, Austria), который обратил мое внимание на данное измерение проблемы.

тов, хотя и принимают их индивидуальную ассимиляцию” [13, с.63]. Последнее утверждение не исключает возможности “сочетания определенных аспектов традиции и модерности” [13, с.64]; но главное отличие между революционными и реформаторскими режимами заключается в том, что сперва традиционные элементы трансформируются, и лишь потом возможна их выборочная реинтеграция. Более того, сам К.Джавит склонен защищать довольно радикальный тезис, согласно которому “по всей видимости, в тех ситуациях, когда традиционные ценности и институты фундаментально антитетичны относительно ориентаций на достижение и секулярно-егалитарных норм, последовательное и полное развитие нации невозможно без революционного прорыва, когда старые ценности и институты утрачивают свою способность существенно влиять на формирование социальных процессов” [13, с.63]. В силу этого реформаторы часто рискуют утратить свой “революционный динамизм” еще до того, как им удастся создать новую национальную парадигму — новую политическую формулу, приемлемую для стратегических сегментов общественности, новое распределение политической власти, новый набор социальных и политических институций и новую политическую культуру” [13, с.64].

Вторая стадия развития ленинских режимов — консолидация — следует за трансформацией, нацелена на создание политической общности (задача не из легких, учитывая, что в конце гражданской войны количество большевиков в “России” едва превышало 500 тысяч) и развитие институций политической системы нового режима. Политическая общность (успешно редуцированная к партийным кадрам) вынуждена изолировать себя от пока еще не реконструированного общества. Таким образом, усилия партии направлены на то, чтоб избежать влияния “вражеских” общественных сил на институты, ценности и практики, защищаемые режимом.

Во время консолидационной стадии ленинский режим приобретает системные характеристики: “Во-первых, диктатура пролетариата становится определяющей в формировании взаимодействия — как между режимом и обществом, так и внутри самого режима. Теперь можно говорить о трех структурно значимых аспектах этого политического принципа: а) явная и последовательная политика обособления и противопоставления элиты и режима обществу; б) активное и все более широкое использование принуждения и насилия и уменьшения роли убеждения...; в) тенденция ленинских партий к монополизации публичной сферы на основании полноты непосредственной ответственности за общественное развитие и соответствующей концентрации принятия решений в рамках партии. ...Во-вторых, системно направленные режимы заинтересованы в быстром развитии своих обществ и постоянной мобилизации ресурсов” [7, с.59–60].

Смещение акцентов на стадии консолидации режима обуславливает также переформулирование требований к партийным кадрам — партия настойчиво предлагает себя как единственную референтную группу (представителем которой выступает ее руководство), что требует безоговорочной лояльности со стороны функционеров. Как справедливо отмечает Джавит, “революционные партии не были теми институциями, которые первыми воспользовались созданной ими же ситуацией, в которой можно прибегнуть к определенным формам изоляции для развития своего институционального ядра. В своем стремлении создать кадры с минимумом привязанностей в

отношении внешнего окружения монастыри точно так же должны были решать проблему индоктринации” [13, с.62], то есть “идеологической обработки” монахов.

В целом стадия консолидации в дополнение к военно-политической ликвидации конкурирующих элит (неоспоримому достижению трансформационного периода) разрушает социальные, экономические и культурные институты общества. Символом ленинского режима на данной стадии является крепость средневекового рыцарского ордена — излюбленная аналогия Сталина, “консолидатора” ленинизма в СССР. Правление ленинской партии выходит за рамки традиционной интерпретации политических структур господства как “правительства” или “бюрократии”; режим создает нормативный и сакральный порядок, напоминающий “основной принцип индонезийского (индуистского по своей сути. — П.К.) управления государством — двор (court) должен быть копией космоса, а царство — копией двора (court), где король занимает место на “пороге восприятия” между богами и людьми и является образом-опосредствованием двух миров; а двор выстраивается практически в полном соответствии с геометрической диаграммой. В центре и наверху — король; вокруг него и у его ног — дворец и столица, “надежные и смиренные”; вокруг столицы — королевство, “зависимое, склоненное в знак почитания”; вокруг королевства — внешний мир, “от которого ожидается покорность”. Все элементы расположены согласно сторонам света и являются конфигурацией концентрических кругов — выражения не просто структуры общества, а политической мандалы, то есть универсума в целом” [45, с.130–131].

Консолидация режима, безусловно, имела важные импликации для социальной структуры общества — в этот период состоялось не только формирование “нового класса” (весьма точный термин М.Джиласа, который, однако, не получил адекватной концептуализации в его несколько упрощенной интерпретации ленинизма [см. : 46]); сформировалось новое “микробщество”, господствующая общность, которая строилась на руинах старого социума, подвергнутого тотальному разрушению.

Корнелиус Касториadis предложил более социологизированное и вместе с тем парадоксальное, учитывая его левизну, “антисоветское” объяснение природы нового класса ленинских режимов на стадии консолидации, позволяющее рассматривать “коммунистические” политические системы в сопоставительном контексте в одном ряду с фашистскими: “...связь между этой (ленинско-сталинской. — П.К.) и фашистской мифологией очевидна. Фашизм... обещает работу, общественную дисциплину; он якобы опирается на “настоящих рабочих”, и в частности, он обещает эмансипацию среднего класса.

...Фашизм прибегает к чистейшей демагогии. Он приветствует борьбу с трестами, однако в действительности является их инструментом. Он обещает триумф среднего класса, однако растаптывает его, придя к власти; лишь самый тонкий слой его может войти в состав фашистской военно-политической бюрократии. В противоположность этому сталинизм явно воюет с трестами... и выметает крупных капиталистов... С другой стороны, для того, чтобы реализовать требования своей экономической политики (которая зависит от постоянного разрастания Государства) и осуществить свою социальную политику (которая нуждается в широком базисе для ее

поддержки в противостоянии и с буржуазией, и с пролетариатом), сталинизм на самом деле готовит триумф новых смертных казней, призванных сформировать его политическую и экономическую бюрократию” [47, с.63].

Развивая далее свое видение “нового класса”, Касториадис анализирует экономические основания его функционирования, подчеркивая, что “как плановое производство, так и “национализация” средств производства сами по себе не имеют ничего общего с коллективизацией экономики. Коллективизировать экономику — это значит передать реальную собственность, управление и распоряжение плодами экономической деятельности (причем все указанные моменты взаимосвязаны) коллективам рабочих. С другой стороны, это становится возможным, когда последние действительно имеют политическую власть. В России нет ни одного из этих условий” [48, с.51].

Однако было бы неправильно сводить определение советского общества — как это свойственно многим левым критикам теории и практики ленинизма — к государственному капитализму (И.Валлерстайн) или бюрократическому капитализму (последняя концепция К.Касториадиса, в большей мере касающаяся политической специфики режима), поскольку данный подход игнорирует существенные различия принципов общественной организации либеральных и ленинских режимов.

По мнению Джавита, ленинские режимы создали “новое “замковое общество”, которое, будучи изолированным от старого разрушенного социального порядка, доминировало над ним; поскольку старое общество все равно сохраняло свое враждебное и потенциально (идеологически. — *П.К.*) отравляющее воздействие, возникала потребность в защите от него с помощью “рва” — тайной полиции” [49, с.312].

С точки зрения исторической перспективы, идеологический дискурс, подобный ленинскому консолидационному, можно обнаружить у святого Августина с его концепцией двух Градов, прямо противоположных по своей сути. Однако успешная реализация задач консолидационного периода, то есть достижение западным католицизмом такого состояния, когда церковь и общество имели фактически идентичное членство, с одной стороны, а с другой — создание ленинизмом “артикулированной социалистической интеллигенции, развитие индустриальной базы и военной мощи” [7, с.90] приводит к одинаково парадоксальному результату — режиму становится намного сложнее воспроизводить общественные отношения, “органически” присущие консолидационной фазе.

“Модернизационные” усилия ленинских режимов: стадия интеграции. Ответом ленинского режима на изменения в окружении становится политика интеграции. Исторический поиск “врагов народа” и упор на классовую борьбу, акцентирование идеологических расхождений, политической дистанции и насилия над обществом — все это отбрасывается, и на смену режиму-крепости приходит режим-двор, который, хотя и не отказывается от своей монополии на власть, вместе с тем начинает задумываться над проблемой легитимации. Если Фома Аквинский предложил новую христианскую антропологию, которая позволяла рассматривать человека как природное существо, а не только как члена церковной общности, то “Хрущов (инициатор стадии интеграции в СССР. — *П.К.*) устранил идеологические основания сталинского догматического противопоставления квазисакрального режима и враждебного, “отравленного” общества. “Августи-

новские” недоверие и напряженность сменились “аквинатовской” уверенностью в том, что советский режим может взаимодействовать со своим окружением (национальным, блоковым и международным) — не только держать дистанцию — без угрозы мгновенного “загрязнения” [49, с.316].

Интеграция направлена, прежде всего, на расширение базы режима в таком направлении, чтобы политически инкорпорированные элиты общества (новый профессиональный класс) не утратили своей социально-профессиональной идентичности (в противоположность условиям трансформационного режима, который требовал принесения в жертву профессионального статуса ради обретения политического статуса и ответственности) и вместе с тем сохранялся институционализированный харизматический статус партийного аппарата.

Трагический успех ленинской модели развития¹ стал предпосылкой формирования широкого слоя нового среднего класса (“конечно же, не в смысле буржуазной собственности, — справедливо отмечает Д.Широт, — но в культурном и образовательном смысле, а также по стилю жизни” [52, с.20]), что выразилось в готовности изменить ориентацию режима от консолидации, которая характеризовалась предубеждением против использования “спецов”, к интеграции и попыткам их инкорпорации.

С точки зрения структуры организации самого ленинского режима, состоялся переход от командного, волюнтаристского и догматического образа действия к политическому лидерству и процедурно-эмпирической ориентации. На уровне идеологического дискурса интеграционные тенденции нашли выражение в отказе от тезиса об обострении классовой борьбы в процессе построения социализма, в принципе мирного сосуществования и концепции “общенародного государства” — вместо идеи и практики “диктатуры пролетариата”.

Именно столкновением различных стадий развития — консолидации и интеграции — можно объяснить конфликт двух ленинских режимов — советского и китайского. Как известно, для Августина “среда, в которой протекала коллективная жизнь политической общности, была пронизана

¹ Катастрофическая амбивалентность последствий именно успешной реализации ленинского проекта общественного развития заключалась в том, что он был попыткой ответа на реальные условия отсталости и зависимости “России как развивающегося общества” (Т.Шанин), на полный крах традиционных политических элит, которым сам Ленин вынес характерный для него полемически заостренный вердикт: “...нашелся бы на свете хоть один дурак, который пошел бы на революцию, если бы вы (меньшевики и эсеры в тексте Ленина, но мы можем добавить имперское правительство. — П.К.) действительно начали социальную реформу?” [50, с. 166–167]. С другой стороны, ленинская альтернатива социальной реформе — социальная революция — трактовалась им как соединение политических условий, то есть “пролетарского государства”, с крупнокапиталистической техникой и планомерной организацией в экономике. Парадигматическая форма такого синтеза существовала, по мнению Ленина, в юнкерско-буржуазной, империалистической Германии: “...поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистического тоже государство, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, т.е. пролетарское, и вы получите всю ту сумму условий, которая дает социализм” [51, с.65].

ощущением глубинной напряженности между натурализмом повседневной жизнедеятельности общности и сверхъестественной сущностью Града Божьего” [53, с.125]. Точно так же и “августиновская” интерпретация социальной и политической реальности китайскими ленинцами отличалась осознанием того, что существует глубокая пропасть между “квазисакральной диктатурой партии и общественным и международным окружением, тающим в себе угрозу [идеологического. — П.К.] “загрязнения”” [9, с.326].

Однако трансформация консолидационного ленинского режима в интеграционный порядок отнюдь не была тождественна либерализации и демократизации; интеграционный режим сохранял опору на партию как ведущую политическую институцию, хотя и предполагал реструктуризацию руководства партии от султанистского типа господства (классическое веберовское определение идентифицирует султанизм как предельный случай патримониализма, “когда традиционное господство превращает административный аппарат и вооруженные силы в средства, находящиеся в сугубо личном распоряжении правителя” [6, с.231]) к олигархической модели (так называемое “возвращение к ленинским нормам коллективного руководства”). Столь же одномерным является сведение факторов трансформации консолидационного режима в интеграционный к потребности в экономической модернизации (такой взгляд больше отвечает вульгарно-экономическому детерминизму марксизма, отстаиваемому П.Лафаргом, чем антимарксистским взглядам Дж.Сакса [см. : 54]). Если обратиться к китайскому режиму как идеально-типичному примеру, именно “придание более высокого статуса эмпирической реальности Ден Сяо Пиню, его упор на “обучение на основе фактов” типичны для интеграционного отрицания догматической эпистемологии режима, которая во времена культурной революции Мао рассматривала “сакральную реальность” как более подлинную, чем любая эмпирическая констатация социально-экономических проблем... Но отказ от классовой борьбы — идеологической составляющей китайской политической жизни — как ничто другое явно свидетельствует об интеграционной природе режима Ден Сяо Пина” [49, с.336].

Возникновение городских, просвещенных и артикулированных слоев в ленинских режимах, которые могли целиком легитимно претендовать на статус интегрального элемента общества, вполне заслуживающего доверия, способствовало переходу от чисто принудительных практик режима к “синтезу” принуждения с манипуляцией. Режим также начинает учитывать позицию “артикулированного общества”, которое пришло на смену “молчаливому социуму” консолидационной стадии сталинизма. Перенесение идеологических императивов в сферу практической политики вело к формированию более позитивного отношения к национальному государству, в отличие от “консолидационной стадии, когда только партия рассматривалась как носитель харизмы” [49, с.312] и агент внутренней и внешней политики.

Тем не менее, как корректно отмечает Джавит, структурные трансформации ленинских режимов и их развитие в направлении интеграционных политических систем в 60–70-х годах не означали исчезновения харизматической ориентации партии, которая продолжала оставаться радикальной, мобилизационной, утопической институцией и стремилась прежде всего

“создать активистов, а не просто граждан” [1, с.11]. Сохранение мобилизационной ориентации ленинских режимов, требовавшей не только контроля над формальными измерениями, в которых осуществлялось общественное развитие, но и управления “содержательными” процессами, привело к “нарушению устоявшейся рутины — общественной, персональной, институциональной и психологической” [7, с.118], что, в свою очередь, поставило под угрозу и в конечном счете разрушило формальные и предсказуемые процедурные нормы¹.

Кен Джавит еще в 1975 году пророчески сформулировал проблему, с которой столкнулись ленинские режимы в своем развитии на интеграционной стадии: “Эти позиции — мобилизация и включение — не просто пребывают в конфликте; нет никаких гарантий, что ленинские режимы смогут эффективно объединить их” [7, с.119]. Дальнейшее развитие убедительно подтвердило, что ленинские режимы оказались не в силах синхронно сохранять “эксклюзивный” характер своей политической организации и осуществлять релятивизацию своей политической “конституции”. “Партийные кадры” и “граждане” оказались антитетическими базисами несовместимых политических общностей, поскольку режим, будучи готов к системному превращению, вопреки своим программным принципам, “стимулировал серию неформальных адаптационных ответов — на уровне поведения и установок — совместимых с некоторыми основными элементами традиционной политической культуры” [7, с.86–87], с характерными для нее формализмом во взаимодействии режима из обществом, растворением публичной сферы в официальной и резким противопоставлением последней частной сфере, а также обособлением статусных (престижных) элементов должностных позиций в границах режима от ролевых (поведенческих) требований: “подобно боярам (в монархической Румынии. — П.К.) и подданным, которые исторически представляли собой взаимоисключаю-

¹ По мнению внимательного наблюдателя-культуролога, “новые люди”, мобилизованные (как политически, так и социально) революционным режимом, очень часто оказывались “неграмотными или полуграмотными. Но неграмотность — это не просто неумение читать и писать, это и недостаточное развитие самосознания и критического мышления, преобладание аффективного над рефлексивным” [55, с. 15]. Как остроумно заметил Э.Неизвестный, элита советского режима состояла из людей с периферии, говоривших на особом сленге — “не украинизмами, а на сленге “рвани”” [56, с.5]. Такой социокультурный контекст имел избирательное сродство с “производственной ментальностью” (К.Джавит), которая была характерной особенностью ленинских режимов. Последняя подчеркивала вторичность культурной трансформации относительно изменений в политической, экономической и социальной сферах. Однако не стоит недооценивать “успех” ленинцев не только в деле разрушения существующих культурных форм, но и в продуцировании новых образцов культуры, менявшихся в зависимости от стадии развития режима. Парадигматическим примером различных типов ленинской “борьбы за культуру” может служить восприятие режимом литературного процесса. Так, различие между трансформационной/консолидационной и интегративной стадиями прослеживается в двух литературоведческих изданиях — сталинско-консолидационной “Литературной энциклопедии” с ее истерически-воинствующим пафосом и брежневско-интегративной “Краткой литературной энциклопедии”, демонстрирующей более толерантный этос при сохранении идеологической идентичности.

шие статусы, кадры и граждане тоже стали антиномичными статусами, а не ролями, призванными взаимодополнять друг друга¹ [7, с.64].

Неотрадиционализм versus безличная харизма: организационный упадок ленинских режимов. Необходимость поддержания харизматического статуса режима ради сохранения его идентичности посредством постановки мобилизационных задач, с одной стороны, и последовательная политика интеграции — с другой, оказались антиномичными. Ленинизм как реакция на формально-классовую дифференциацию модерна оказался не в состоянии создать *модерное* общество с точки зрения этоса и способов социального действия² — как утверждают Ейзенштадт и Шлюхтер, “первая, так называемая “оригинальная” современность сформировалась в Европе, объединяя в себе несколько тесно связанных измерений. В структурных терминах, речь идет о дифференциации, урбанизации, индустриализации и развитии коммуникации...; в институционных — о национальном государстве (nation-state) и рациональной капиталистической экономике; в культурных терминах, они способствовали конструированию новых коллективных идентичностей, связанных с национальным государством, но вместе с тем укоренившихся в культурной программе, что повлекло за собой различного рода структуризацию основных сфер общественной жизни” [41, с.3].

Потенциальная угроза возникновения автономных гражданских элементов (со временем реализовавшаяся в польской “Солидарности”) продиктовала необходимость пересмотра интеграционной стратегии, продемонстрировав ее внутренние ограничения. Так, принципиальной проблемой интеграционного режима в сегодняшнем Китае становится не вопрос экономического развития (перспективы Китая в этом направлении выглядят столь привлекательно, что сугубо “капиталистический” Гонконг рискует превратиться на азиатское Торонто — или в лучшем случае Чикаго — и уступить “социалистическому” Шанхаю свой статус азиатского Нью-Йорка [см.: 58, с.57–58]) и даже не согласование существования частной

¹ Обсуждение интеграционной стадии режима отнюдь не означает признания тезиса об “общественном договоре” между авторитарным государством, обеспечивающим социально-экономическую стабильность, и обществом, делегирующим реализацию политических функций режиму в обмен на обеспечение своих материальных интересов. Ленинские режимы всегда действовали в соответствии с моделью “Левиафана”, то есть чувствовали себя свободными от долгосрочных обязательств и соглашений с обществом. Таким образом, некоторая мера автономии общества, существовавшая в этот период, воспринималась режимом настолько толерантно, насколько она не противоречила его программным целям. Такая реакция режима содержала конфликтные требования — ориентация на господство и манипуляцию обществом усложняла возможное “примирение элиты с публикой на основе взаимопризнания” [13, с.68], что, в свою очередь, ужесточало “легитимационный кризис” режима даже по достижении и закреплении революционного прорыва.

² Социологи-компаративисты обратили внимание на то, что модернизаторские усилия африканских революционных режимов помимо воли подлаживались к традиционалистскому социальному и культурному окружению, поскольку, несмотря на активное применение принуждения, насилия и манипуляции, им не удавалось преодолеть “приоритет этнических, племенных, клановых интересов относительно общенациональных” [57, с. 29].

собственности с идеологическими требованиями (17 марта 1999 года Всекитайское народное собрание большинством в 98% приняло конституционную поправку, которая признала, что частный сектор является не просто “дополнительной”, а “важной частью” экономики [см.: 59, с.20]), но сохранение организационной идентичности партии как единственного средоточия политической принадлежности и ее мобилизационного потенциала, которые оказались под угрозой размывания рыночным окружением¹.

Трансформация автократического султанизма консолидационной стадии ленинизма в олигархическую политическую систему интеграционного толка существенно повлияла на общий профиль режима². Усиление элементов традиционной политической культуры статусного общества сделало более сложным подчинение неформальных общественных и экономических практик целям и задачам режима. Проблематичность поддержания организационной идентичности проявилась в феномене политической коррумпции, отражающем “потерю организацией ее специфической компетентности в силу неспособности определить задачу и стратегию, призванные практически дифференцировать... (отдельных) членов от (общих) интересов организации” [7, с.121].

Поддержание организационной идентичности ленинской партии требовало постоянного воспроизведения такого мобилизационного этоса партийных кадров, который удерживал бы их от функционирования по патримонильным принципам (наподобие корпуса янычар в Османской империи [см.: 6, с.1017]) и препятствовал бы превращению аппаратчиков в полуавтономных партийных “феодалов” (как отмечал Вебер, “феодализм в своем полном развитии является предельным случаем систематически децентрализованного господства... поскольку речь идет об ограниченном применении сюзереном “дисциплины” в отношении вассалов” [6, с.1079]). Опять-таки, подчеркиваю, что веберовские категории используются здесь как идеальные типы, то есть как аналитическая реконструкция значимых элементов действительности, и не рассматриваются как “реальные” социальные системы. Как раз это и позволяет использовать понятие традиционного господства для анализа якобы современного феномена, каковым выглядит ленинизм; но, как я уже отмечал выше, инновационность ленинизма заключалась в синтезе безличной харизмы с элементами современного порядка, при подчинении последних организационной харизме партии, структурировавшей все институты общества по своему образу и подобию. Как точно подметил левый теоретик политических форм современ-

¹ По мнению специалистов по китайской политике, организационная эрозия коммунистической партии Китая “не является следствием серьезного кризиса, политического маневрирования или выбора элит; она скорее обусловлена новым социально-экономическим окружением, создаваемым рыночными реформами, которые, хотя и преследовали цель оживить легитимность партии, сработали против партийной идеологии и ее способности оперирования” [60, с.150].

² Весьма интересное историческое исследование колебаний политической системы между полюсами автократии (султанизма, по нашей терминологии) и олигархии в Московском царстве XVII века и борьбы между этими двумя организационными принципами представлено в [61].

ности Клод Лефер, тоталитаризм (или ленинизм на стадии консолидации — в терминологии, которой придерживаюсь я) “не является политическим режимом, он есть *формой общества...*” [24, с.79].

Общественно-политические изменения в странах ленинского блока в 70–80-х годах стали блестящим подтверждением веберовской концепции рутинизации харизмы. В этом контексте уместно напомнить веберовское описание данного процесса: “Когда *прилив*, поднявший харизматически ориентированную группу над повседневной жизнью, возвращается к повседневной рутине, по крайней мере “чистая” форма харизматического господства исчезает из виду, превратившись в “институцию”; в дальнейшем она либо механизмируется, либо уступает место другим структурам, либо переплетается с ними в самых разнообразных формах... В этом случае харизма очень часто *трансформируется до неузнаваемости и может быть идентифицирована лишь на аналитическом уровне*” [6, с.1121]. Более того, последователи харизматического лидера не чужды влиянию “повседневной жизни, в особенности экономических интересов. *Поворотный момент достигается, когда харизматические последователи и ученики становятся... государственными служащими, партийными чиновниками... предпочитают жить за счет харизматического движения*” [6, с.1121–1122]. Такие же изменения претерпевает и харизматическое послание, становясь доктриной, догмой или застывшей *традицией*. В процессе такого развития антагонистические традиция и харизма смешиваются, поскольку “как харизма, так и традиция опираются на чувство лояльности и обязанности, которое всегда имеет религиозную ауру” [6, с.422]. Для партий ленинского типа этот процесс имел своим последствием превращение Глеткиных консолидационной фазы режима (с которыми ранее была связана ликвидация трансформационного типа Рубашовых) в “патронов и “big men” традиционного толка” [7, с.127].

Культивируемый некогда “аристократический” образ харизматических партийных кадров противостоял методической экономической деятельности и накоплению (архетипические фигуры — Ленин в латанной одежде, Сталин и Мао в аскетических френчах). Как средневековый нобилитет, который “жил посредством грабежа, дани... и налогов, выплачиваемых крестьянами” [62, с.402], так и кадровый партийный нобилитет харизматического периода в штыки воспринимает предпринимательскую деятельность не только потому, что она может угрожать материальным интересам партийных кадров, а точнее — власти, но и потому, что партия верна представлениям о себе как героической организации, политическая элита которой имеет “высший” статус и является собственно правящим классом, а не просто функциональной элитой, носителем набора “исполнительских” ролей [см.: 63].

Одним словом, удовлетворение экономических потребностей харизматической общности “политических виртуозов” принципиально не может приобретать форму рационального методического предпринимательства, а должно отвечать героическому видению этих деятелей, ориентированных на сохранение своего статуса. Такого рода надлежательной сферой деятельности в ленинских странах (и СССР, безусловно, был образцовым примером) была промышленность, в особенности машиностроение и ВПК. Стивен Хансон подтверждает это, отмечая, что “несмотря на чудовищно принуди-

тельный характер, мы должны признать, что основные экономические институты сталинской насильственной индустриализации СССР — пятилетний план на макроэкономическом уровне и шоковая работа и стахановское движение на микроэкономическом — являли собой впечатляющие инновации, сделавшие возможным третий цикл марксистско-ленинского развития: утверждение *социально-экономической харизматической безличной интерпретации времени* [21, с.39].

Другой ключевой момент политической экономии ленинского режима состоял, во-первых, в арифметическом подходе к хозяйственной деятельности (а такое восприятие экономики “совместимо с традиционной онтологией, акцентирующей дискретную и физическую природу социальной реальности” [7, с.132], что позволяло свести планирование хозяйственной деятельности к подсчету физических единиц продукции и, в то же время, исключало возможность применения принципов эффективности и оптимальности), а во-вторых, в доминировании неформального взаимодействия (блата) между деятелями с неравным статусом, что представляет собой эрзац безличного предсказуемого взаимодействия индивидов в рамках рыночной экономики и электоральной политической системы.

Результатом воплощения ленинско-сталинской инновационной системы координат, которая подчиняла современные институты, практики и ориентации харизматической внеличности, стало признание методичной экономической деятельности, но как второстепенного по сравнению с “героической” штурмовщиной способа действия, высокая оценка профессионалов при условии подчинения их партийному “нобилитету”, развитие современной промышленности и “арифметическая” экономическая политика.

Все указанные тенденции резко усилились в период интеграционной стадии режима, что дает основания констатировать превращение советской экономики в *oikos*, то есть такой тип хозяйствования, господствующим мотивом которого, согласно Веберу, “является не капиталистическое накопление”, а “организованное удовлетворение потребностей, даже посредством рыночно ориентированной экономической деятельности” [6, с.381]. Отказ сперва от султанистских методов контроля за кадрами и функционированием экономической системы, характерных для правления Сталина, а потом и от неудачной попытки Хрущева предложить плебисцитарную альтернативу автократического произвола направили развитие партии в патриархальное русло, в пределах которого лидер должен реализовывать свое господство “как общее право в общих интересах членов общности” [6, с.231]. Таким образом, его деятельность теряет абсолютную автономию. По мнению Джавита, о справедливости последнего утверждения свидетельствует и успех, которого достигли советские элитные кадры в сравнении с классом “пролетариев” — став группой “в себе и для себя”, они “успешно определили, а точнее смешали общие интересы партии со своими партикуляристскими статусными интересами, касающимися карьеры, личной безопасности, привилегированной материальной и высшей политической позиции. Действуя в таком ключе, они предупреждают возникновение политической силы как внутри партии, так и за ее пределами — силы, способной продемонстрировать относительный (в противоположность их иллюзорной абсолютности. — П.К.) характер интересов кадров” [7, с.143].

Нежелание и несостоятельность партийной элиты в определении мобилизационной задачи и привлечении человеческих и материальных ресурсов к ее достижению означали механическую ритуализацию харизматических качеств партии (следует сказать, что термин “ритуал” используется мною в его повседневном смысле; более детальное развитие этой темы содержится в новаторском труде В.Н.Топорова, который подчеркивает прагматичность ритуала, его центральность в жизни архаического человека [см. : 28]). “Ритуализации” политической практики режимов отвечала и ритуализация его идеологического видения. Как резко подметил бывший троцкист К.Касториадис, произошло “разрушение классического марксизма как *конкретной системы мысли*, имеющей некоторую связь с реальностью. За исключением нескольких абстрактных идей, ничего из того, что является существенным в “Капитале”, невозможно обнаружить в сегодняшней реальности” [65, с.28] и в ее трансформации в направлении неотрадиционалистских институциональных моделей. Бурное развитие теневой экономики в позднем СССР — наилучшее свидетельство того, как ленинская партия, которая уже утратила свое мобилизационное призвание, но не желала лишиться статуса политической исключительности, адаптировалась к условиям “общенародного государства” (созданной ее собственными руками вследствие реализации политики интеграции), как она пыталась примирить широкий спектр общественных интересов. Следует отметить, что теневая экономика советского образца является идеалью типичным эквивалентом политического капитализма и отличается от рационального предпринимательского капитализма по следующим параметрам: “институционные рамки, в которых протекает экономическая деятельность (административная иерархия versus рынок), этос такого рода деятельности (неопределенность, явившаяся результатом произвола политических патронов, versus большая предсказуемость внеперсональных рыночных регулятивов) и основные агенты (фискально ориентированные корпорации versus индивидуальный предприниматель)” [7, с.144–145].

Конечно, фундаментальной проблемой любой политической системы или конституции ленинского типа всегда оставалась принципиальная невозможность осуществить желанный прыжок “из царства необходимости в царство свободы”, где даже политические функции должны утратить свой политический характер (К.Маркс), что, в свою очередь, повлияло на организационный потенциал режима, поскольку, как писал К.Касториадис, Аппарат может поддерживать свое существование только до тех пор, пока “социальная и историческая ситуация предлагает реальный “шанс”, объективную вероятность того, что Аппарат сможет достичь своей цели” [66, с.292].

Харизматическая внеличностность политической организации ленинского типа так никогда и не стала эквивалентом относительно нейтральной ценностной системы координат, в которой происходило развитие западного либерального порядка. Поэтому “чувственно-сверхчувственные” (К.Маркс) социальные факты ленинизма приобретали превращенную форму: “индивидуализм находил свое воплощение в некорпоративистской форме коллектива (партийная ячейка, рабочий коллектив); принцип достижения как основа и императив противоречит харизматической природе членства в партии как внутренне героическому качеству...” [7, с.18].

На консолидационной стадии советского ленинского режима Сталин был инкарнацией как партии, так и всего общества, абсолютизируя, таким образом, политическую общность в своем лице. Если хрущевское “томистское” развитие предполагало расширение границ политической общности, которая должна была включать партию в целом и “самые активные” элементы общества, то брежневская неотрадиционалистская версия интеграционной стадии базировалась на аппарате, который “успешно уравнил генерализацию политической власти внутри партийного режима со своей абсолютной властью” [44, с.284]. Иными словами, ключевой для любого ленинского режима вопрос “кто — кого?” было решено, как иронически заметил К.Джавит, “в пользу Санчо Пансы” [67, с.46]. Вместе с тем, К.Касториадис был абсолютно прав, когда говорил, что “чем больше сталинисты “либерализуются”, тем сильнее подрывается их влияние” [66, с.295].

Брежневская трансформация политической системы состояла во внедрении социополитического “конкубината” (термин заимствован из истории католической церкви; его смысл заключается в том, что в определенные периоды своего развития католицизм вынужден был мириться с нарушением принципа целибата священниками, создававшими “неформальные” семьи, поскольку, был вынужден признать святой Бонифаций в VIII столетии, если “подвергнуть наказанию всех виновных, так, как того требуют каноны, не останется никого для осуществления крещений и прочих треб” [цит. по: 68, с.18]). Такой “конкубинат” — с его смесью “приватных и официальных льгот и собственности, бессрочного пребывания на политических должностях, физической безопасности и привилегированно-стабильного доступа к карьере” [7, с.147] — эффективно обслуживал интересы организационно коррумпированной статусной элиты.

Вполне логично задаться вопросом — релевантным как применительно к немногочисленным сегодня ленинским режимам (например, Китаю), так и что касается их правопреемников (в частности, современной Украины) — может ли легализация (или хотя бы легитимация) организационной коррупции привести к возникновению социальной системы, где частное богатство вытеснит политический статус как основу общественной организации? Такая постановка вопроса предложена отечественным исследователем В.Ларцевым, считающим, что “поскольку в Украине коррупция является реакцией граждан на неспособность государства обеспечить нормальное функционирование общества, нужно не столько бороться с ней, сколько научиться ее использовать” [см.: 69]. Подобный подход на первый взгляд кажется совместимым с концепцией Ч.Тилли о государственном строительстве и войне как организованной преступности [см. : 70]. Тем не менее, следует сказать, что в модели Ч.Тилли формирование западноевропейских абсолютистских государств, которые пытались внедрить “рациональные” административные и военные институты (процесс, в котором государства конкурировали с альтернативными центрами физического насилия), диктовалось необходимостью адекватно реагировать на внешние угрозы (известный неустойчивый баланс Вестфальской системы). Поэтому в условиях отсутствия давления извне/изнутри общества интерпретация коррупции как катализатора современного развития выглядит маловероятной. В сравнительно-исторической перспективе опыт старого режима во Франции и современном Марокко убедительно продемонстрировал, что коррупция

способствует *расширению и усилению*, “но не *исчезновению* статусной упорядоченности политической, экономической и общественной жизни”¹ [7, с.149]. Поэтому примирение *de facto* советского режима с организационной коррупцией, в той мере, в которой это не создавало угрозы сохранению неравенства в статусе “граждан” и партийных кадров, имело чрезвычайно серьезные негативные последствия, которые не в последнюю очередь способствовали краху ленинизма, поскольку подобная система стимулировала социальное недовольство общественных слоев, лишенных привилегированного доступа к практике партийного патроната. Под угрозой оказалась способность партии адекватно удовлетворять свою потребность в мобильности партийных кадров.

К.Джавит пророчески заметил в 1983, что попытка возродить мобилизационный потенциал партии “есть делом вместе и сложным и опасным. Это сложно, так как с достижением “полной и окончательной победы социализма в отдельно взятой стране” довольно трудно поставить и оправдать “боевые” задачи. Это опасно, поскольку внедрение “боевых”, мобилизационных отношений ставит под угрозу стабильность надежно защищенных персональных и семейных интересов кадров данного режима” [7, с.151]. Этот прогноз триумфально осуществился с началом и крахом горбачевской перестройки, которая знаменовала исчезновение ленинизма как цивилизации и образа жизни.

Затаяв “перестройку”, Михаил Горбачев, наверное, мог бы подобно К.Касториадису задаться вопросом: “почему Революция, победив своих внешних врагов, сумела достичь лишь того, что осуществился коллапс изнутри, почему она “дегенерировала” таким образом, что это привело к власти бюрократии?” [73, с.92]. Ответ, который предложил сам К.Касториадис, — “формирование... бюрократии как управленческого слоя в сфере производства (вместе с экономическими привилегиями, которые неминуемо ассоциируются из этим статусом) представляло собой, изначально, *сознательную, прямолинейную и откровенную политику партии большевиков, возглавляемой Лениным и Троцким*” [73, с.99] — не может в полной мере удовлетворить нас, поскольку, несмотря на фиксацию важных характеристик ленинского режима, игнорирует его специфику сравнительно с легально-рациональными формами бюрократии.

Экономический кризис “реального социализма”, при всей важности этого фактора (как остроумно заметил Д.Широт, “трагедией коммунизма

¹ Согласно гегелевско-марксовской формуле об иронии истории, фатальным последствием превращения организационной коррупции ленинского режима из социальной патологии в “нормальный” социальный факт стало возникновение в недрах партии “гражданского общества”. Но в противовес модели А.Смита, который, хоть и считал свободное взаимодействие корыстолюбивых индивидов ключевым фактором создания “гражданского” социального порядка, все же ограничивал его на основе принципа “справедливости” [см.: 71, с.909], советский режим способствовал возникновению социальных форм, отвечавших скорее Марксовому критическому видению сущности буржуазного/гражданского общества, которое, по его мнению, превращает индивида в оторванную от жизни общности самодовлеющую эгоистическую монаду, рассматривающую других как средство своего инструментального действия, будучи сама игрушкой в руках вражеских сил [см.: 72, с.42–43].

явилась не его неудача, а его успех... Это было нечто вроде того, как если бы Эндрю Карнеги представилась возможность руководить США, и он заставил бы всю страну стать гигантской копией US Steel, и менеджеры этой самой US Steel управляли страной в течение 1970–1980 годов!” [52, с.5–6]), также нельзя рассматривать как решающий фактор социального кризиса и, в конечном счете, смерти ленинизма.

Но самым серьезным вызовом ленинизму как типу политической организации, инициировавшим горбачевские изменения как попытку ответить на этот вызов, стало возникновение “Солидарности” в Польше и, как оказалось, неэффективность “бонапартистского” подхода к проблеме польских ленинцев. Значение “Солидарности” заключалось в том, что она предложила альтернативный *образ жизни*, который отрицал легитимность харизматической статусной организации ленинизма, и ознаменовала формирование слоя, который М.Вебер назвал “*гражданами государства*”. Я приведу соответствующий веберовский пассаж полностью как крайне важный для политического дискурса современного общества: “...с точки зрения собственно политических концепций совсем не случайно, что требование голосования “один человек — один голос” так популярно повсюду, поскольку *механическая* природа равного права голоса отвечает сущностной природе сегодняшнего государства. Современное государство первым предложило концепцию “*гражданина государства*”. Равенство голосования означает первым делом лишь то, что в данный момент общественной жизни, в отличие от всех прочих ситуаций, *индивид* не рассматривается с точки зрения его профессионального и семейного положения или особенностей его социального и материального состояния; он рассматривается исключительно и просто *как гражданин*. Это символизирует скорее политическое единство нации, а не водоразделы, которые разделяют разные сферы жизни” [38, с.103].

Неприемлемость “милитаристского” ответа на кризис режима, спровоцированный “Солидарностью”, заключалась в том, что “ленинцы всегда рассматривали “бонапартизм” как чрезвычайно серьезную угрозу политической и идеологической идентичности Партии... Военные и Партия — “герои-конкуренты”, герои с противоположными сферами компетенции” [7, с.154], поскольку “героизм” партии был ориентирован не столько на войны (хотя с легкостью мог адаптироваться к требованиям боевых действий — достаточно вспомнить быструю “переквалификацию” партийных кадров в членов Военных советов), сколько на героизм общественных батальонов. Неспособность “ленинцев-бонапартистов” нанести поражение “Солидарности” вместе с тем ярко продемонстрировала, что “интеграция общественных сил уже не является адекватной стратегией для поддержания монополии партии” [74, с.77].

К середине 80-х годов партия превратилась в “коррупцированное, ленивого, политического монополиста (понятие “ленивая монополия” детально разработано А.Хиршманом [см.: 75]), который ритуально настаивает на своем героическом характере, отбрасывая саму возможность отказа от своего эксклюзивного правления обществом, интерпретируемым как социально приемлемое и трактованным как политически неравное. ...Паразитическая ленинская партия руководила грабительской (а не плановой) экономикой и правила (не руководила) обществом гиеноподобных созданий (термин-метафора в оригинале — scavenger — означает существо, пи-

тающееся падалью или собирающее отходы. — П.К.) (а не гражданским обществом)” [67, с.45–46]¹.

М.Горбачев осуществил попытку отказаться от неотрадиционалистских практик Л.Брежнева с помощью целого набора политических стратегий, призванных ревитализировать, революционизировать и трансформировать режим в харизматическом направлении. Таким образом, суть горбачевских реформ состояла в намерении повысить “роль *индивидуального* члена партии в противоположность *корпоративному* слою аппаратчиков; повысить роль безличных процедур в противоположность *персональному* произволу ... партийных “big men” ...” [44, с.278]. Иначе говоря, программа М.Горбачева заключала в себе отрицание общественного эгоизма ответственным индивидуализмом (блестящая концептуализация ключевого различия между “эгоизмом” и “индивидуализмом” была предложена А. де Токвилем [см.: 36, с.506]) и, таким образом, являлась попыткой вырваться из порочного круга сталинско-брежневской дилеммы — или партийный террор большевистской “крепости”, или партийная коррупция неотрадиционалистской “негары” (детальное исследование “негары” — ритуализированно-театрального индуистского государства острова Балли — содержится в [77]).

Горбачевское видение возрождения ленинизма включало такие императивы, как расширение социальной базы политического членства и власти в рамках режима. Реализация этих требований исключала абсолютизацию партии в лице ее “вождя” или “аппарата”. Как дополнение к релятивизации власти партии предполагалось радикальное расширение границ советской политической общности. Будучи направлена на реализацию таким образом последовательно большевистской идеи, “горбачевская перестройка предлагалась как попытка осуществить быструю трансформацию советской культуры в харизматическом направлении. Ее целью было создание не просто социально-экономических структур (что можно считать достижением сталинской эпохи. — П.К.), а культуры, которая бы зиждилась на массовой и постоянной интернализации норм трансцендирования времени” [21, с.40]. Как следствие соблюдения этих “истинно-ленинских” принципов партия утратила свой сталинско-большевистский профиль “крепости” и превращалась в меньшевистский “банкет” [см.: 44, с.280]. Отрицание идеи обострения классово-борьбы в советском обществе Н.Хрущевым нашло продолжение в горбачевской замене понятия правильной “линии” партии представлением о политически “правильном” обществе, которое должно было лишить партию монопольной самоидентификации с политической общностью как таковой. Релятивизация абсолютистского по своей природе режима (аналогичного по своему социально-институциональному профилю такому культурно-историческому образованию, как католическая церковь или Османская империя) и потеря им мобилизационных задач

¹ Следует отметить, что дотошный текстологический анализ демонстрирует необоснованность заявлений В.Полохало о новаторском характере концепции “негражданского общества”, которую он предлагает [см.: 5]. Джавит и Ханн предложили концептуально и даже терминологически сходные категории — первый еще в 1990 году, второй — в 1997-м [см.: 44; 77].

означали исчезновение ленинизма как образа жизни, предлагавшего альтернативу цивилизации либерально-демократического капитализма.

Заключительные соображения

“Массовое исчезновение” ленинизма отнюдь не стало автоматическим подтверждением истинности и гарантией практического успеха фукуямовского нездорово-оптимистического тезиса относительно “конца истории”. Любая инновационная общественно-политическая или культурная форма, способная привести к возникновению нового образа жизни, порождает *партийный*, но не тотальный образец поведения: “абсолютизм имел двор (Версаль); либерализм — рынок и парламент; ленинизм — партию и план”, социальную базу которых составляли соответственно “придворные в абсолютистских государствах, аскетические предприниматели в либеральных капиталистических государствах, большевистские кадры в ленинских режимах, СС в третьем рейхе” [75, с. 85]. Именно в силу своей партийной идентичности победы либерального капитализма над альтернативными образами жизни (связанными с католической церковью, фашизмом, ленинизмом) имеют партикуляристский характер; поэтому, несмотря на свой “прогрессивный” и функциональный характер, он вовсе не обречен на успех в мировом масштабе. Либеральная цивилизация может и будет порождать альтернативные попытки оспорить ее “материалистический уклон и акцентирование принципа достижения”, а более всего — ее “рациональную внеличностность” [75, с.87]. Кроме того, признание “капитализма “концом истории” означает антиисторическую самоуверенность, которая принижает безграничные творческие и трансформационные силы человечества” [78, с.115].

Фукуямовский тезис продемонстрировал свою неприменимость в контексте постленинского общественного развития/дегенерации, характеризующегося доминированием политической культуры гетто¹. Таким образом, “внутренний город”, типичный для американских мегаполисов, типа Гарлема в Нью-Йорке, можно рассматривать как аналог постленинской Украины с точки зрения господствующих здесь институционных форм и этоса².

Как пишут американские исследователи социальных проблем гетто, Гарлем, который “фактически является городом в городе, имеет население, эквивалентное Атланте. Большая часть района и поныне либо не заселена,

¹ Сравнивая “качество” постижения общественно-политических феноменов М.Вебером и современными социальными теоретиками, К.Джавит иронически заметил, что, “к счастью, Веберу не пришлось читать Фукуяму и Хау...” [75, с.98].

² В своей экстраполяции микросоциологических характеристик на макросоциологический уровень я опираюсь на М.Шифтера, который воспользовался такой аналогией, анализируя ситуацию в Колумбии — обществе, достойном сравнения с Украиной, поскольку последствия “наркотизации” экономики в “сочетании с полностью коррумпированной политической системой, в течение длительного периода способствовавшие отчуждению граждан от политической жизни, обнажили жуткие институционные проблемы страны” [79, с.16]).

либо разрушена. И хотя должностные лица, приветствующие изменения, осуждают программы, порождающие ментальность зависимости от государственной системы социальной защиты, им оказываются не в состоянии предложить взамен сугубо рыночный подход. Они убеждены, что, несмотря на все конкурентные преимущества Манхеттена, влиятельный бизнес не придет в Гарлем без вмешательства правительства”, но активная роль государства автоматически создает “предпосылки для патроната, коррупции и ошибочных решений... Расположенный на расстоянии всего лишь трех остановок метро от центра Манхеттена, Гарлем долго оставался обособленным экономическим миром. Расизм (конечно же, в случае Украины мы должны говорить не о расовой дискриминации, а о *социальном* апартеиде первичного накопления капитала. — П.К.) и страх перед преступностью сдерживали внешние инвестиции; отсутствие доступа к капиталу подорвало предпринимательство черного населения...” [80, с.23].

Поэтому массовое исчезновение ленинизма как культурного и институционального типа оставило страны, которые входили в его ареал, наедине с проблемой “ленинского наследства”. И именно поэтому Ф.Фукуяма потратил последнее десятилетие на то, чтобы довести до абсурда свою либерально-капиталистическую парадигму (“либерализация экономической политики приведет к экономическому росту, который, в свою очередь, повлечет за собой развитие демократических политических институций...” [81, с.19]), заставляя своих наивных сторонников удивляться, почему, дескать, общества постленинской эпохи склонны либо выбирать недемократический капитализм, как это произошло с Китаем, либо, как в случае Румынии, никак не могут осуществить “переход к свободному рынку и демократической системе” [82, с.111], предпочитая практику “номенклатурного капитализма” и самых примитивных версий национализма.

Впрочем, в определенном смысле тезис о “конце истории” может оказаться релевантным применительно к условиям постленинской Украины — хотя он существенно противоречит изначальной фукуямовской интенции; иными словами, тезис о “переходе к рыночной демократии”, можно считать, прекратил свое существование, так и не дождавшись воплощения в реальность. Поэтому украинское общество может тешить себя своей недавно открытой “европейской” идентичностью, погружаться в тонкости и подвохи искусительной “игры в бисер”, которую предлагают теоретики вроде Ф.Фукуямы, и ожидать, какой же из конфликтных императивов западной цивилизации — либерально-демократическая ориентация или правила капиталистической мировой системы — возобладает в политике Запада относительно Украины, которая все-таки умудрилась построить “гражданское” общество — таким, каким его видели Т.Гоббс и К.Маркс — с присущей такому типу социального (бес)порядка свободной игрой эгоистических целерациональностей¹.

¹ Как остро сформулировал проблему И. Валлерстайн, “национальное развитие.., является иллюзорной концепцией в рамках капиталистической мировой экономики” [83, с.97], особенно в условиях, когда исследователи не видят никаких признаков возможного возрождения “левой” политики в странах Запада, способного бросить вызов нынешней гегемонии неолиберального консенсуса [см.: 84, с.33].

Литература

1. *Sartre J.-P.* Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology. — London, 1993.
2. *Curtis D.A.* Foreword // *Castoriadis C.* Political and Social Writings. — Minneapolis, 1988. — Vol.1.
3. *Кутуев П.* Раціональний капіталізм в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — № 2; *Кутуев П.* Поняття вибіркової спорідненості в соціології М. Вебера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 1999. — № 3.
4. *Political System and Political Regime* // *Political Thought*. — 1993. — № 1.
5. *Полохало В.* Політологія посткомуністичних суспільств в Україні і Росії // Політична думка. — 1998. — № 2.
6. *Weber M.* Economy and Society. — Berkeley, 1978.
7. *Jowitt K.* New World Disorder. — Berkeley, 1993.
8. *Тойнбі А.* Постижение истории. — М., 1991.
9. *Skocpol T.* States and Social Revolutions. — Cambridge, 1978.
10. *Z.* To the Stalin Mausoleum // *Deadalus*. — 1990. — Vol. 119. — № 1.
11. *Gallagher T.* Ceausescu's Legacy // *The National Interest*. — 1999. — № 56.
12. *Suny R.G.* Book Review: Weeks T.R. Nation and State in Late Imperial Russia: Nationalism and Russification on the Western Frontier, 1863–1914. De Kalb, 1996 // *The Journal of Modern History*. — 1999. — Vol. 71. — № 2.
13. *Jowitt K.* Revolutionary Breakthroughs and National Development. — Berkeley, 1971.
14. *Hough J.* Russia and the West: Gorbachev and Politics of Reform. — New York, 1990.
15. *Kupchan C.* Rethinking Europe // *The National Interest*. — 1999. — № 56.
16. *Bauman Z.* Intimations of Postmodernity. — London, 1992.
17. *Ray L., Reed M.* Max Weber and Dilemmas of Modernity // *Organizing Modernity*. — London; New York, 1994.
18. *Brzezinski Z.* The Grand Failure. — New York, 1989.
19. *Jessop B.* State Theory. — University Park (Penns.), 1990.
20. *Trotsky L.* The Revolution Betrayed. — New York, 1965.
21. *Hanson S.* Gorbachev: The Last True Leninist Believer? // *The Crisis of Leninism and Decline of the Left*. — Seattle, 1991.
22. *Кантор К.* Два проекта всемирной истории // Вопросы философии. — 1990. — № 2.
23. *Trotsky L.* Stalin. — London; New York, 1947.
24. *Lefort C.* The Political Forms of Modern Society. — Cambridge (Mass.), 1988.
25. *Strobl G.* The Bard of Eugenics: Shakespeare and Racial Activism in the Third Reich // *Journal of Contemporary History*. — 1999. — Vol. 34. — № 3.
26. *Lin J., Stepan A.* Problems of Democratic Transition and Consolidation. — Baltimore, 1996.
27. *Sultanistic Regimes* / Ed. By H.E.Chehabi and J. Linz. — Baltimore, 1998.
28. *Stalin J.* The Essential Stalin. — New York, 1972.
29. *Tilly Ch., Tilly Chr.* Work Under Capitalism. — Boulder, 1998.
30. *Chalcraft D.* Bringing the Text Back In // *Organizing Modernity*. — London; New York, 1994.
31. *Блом Р.Н.* Поиск путей к свободе. — Таллин, 1985.
32. *Агаджанян А.С.* Общая концепция традиций и традиционные структуры в Юго-Восточной Азии // Традиционный мир Юго-Восточной Азии. — М., 1991.
33. *Honneth A.* Struggle for Recognition. — Cambridge (Mass.), 1996.
34. *Habermas J.* Hannah Arendt's Communications Concept of Power // *Power*. — Oxford, 1994.
35. *Herzfeld M.* The Social Production of Indifference. — New York, 1992.
36. *Tocqueville A.* Democracy in America. — New York, 1988.

37. *Weber M.* General Economic History. — New York, 1961.
38. *Weber M.* Political Writings. — Cambridge, 1998.
39. *Migdal J.* Strong Societies and Weak States. — Princeton, 1988.
40. *Tiryakian E.* The Wild Cards of Modernity // *Deadalus*. — 1997. — Vol. 126. — № 2.
41. *Eisenstadt S.N., Schluchter W.* Introduction: Paths to Early Modernities // *Deadalus*. — 1998. — Vol. 127. — № 3.
42. *Cohen J. L., Arato A.* Civil Society and Political Theory. — Cambridge (Mass.); London, 1997.
43. *Gellner E.* Ethnicity and Faith in Eastern Europe // *Deadalus*. — 1990. — Vol. 119. — № 1.
44. *Jowitt K.* Gorbachov: Bolshevik or Menshevik ? // *Developments in Soviet Politics*. — Durham, 1990.
45. *Geertz C.* Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. — New York, 1983.
46. *Djilas M.* The New Class. — San Diego; New York; London, 1983.
47. *Castoriadis C.* Stalinism in France // *Political and Social Writings*. — Minneapolis, 1988. — Vol. 1.
48. *Castoriadis C.* The Problems of the USSR and the Possibility of a Third Historical Solution // *Political and Social Writings*. — Minneapolis, 1988. — Vol. 1.
49. *Jowitt K.* Moscow “Centre” // *Eastern European Politics and Societies*. — 1987. — Vol. 1. — № 3.
50. *Ленин В.И.* Доклад на I Всероссийском съезде трудовых казаков 1 марта 1920 года // ПСС. — Т. 40.
51. *Ленин В.И.* О продовольственном налоге // *Избранные сочинения: В 10 т.* — М., 1987. — Т. 10.
52. *Chivot D.* What Happened in Eastern Europe in 1989? // *The Crisis of Leninism and the Decline of the Left*. — Seattle, 1991.
53. *Wolin S.* Politics and Vision. — Boston, 1960.
54. *Sachs J., Woo T.W.* Structural Factors in the Economic Reforms in China, Eastern Europe, and the Former Soviet Union // *Economic Policy*. — 1994. — Vol. 9. — № 18.
55. *Козлова Н.Н.* Упрощение — знак эпохи? // *Социологические исследования*. — 1990. — № 7.
56. *Неизвестный Э.* Катакомбная культура и власть // *Вопросы философии*. — 1991. — № 10.
57. *Мальковская И.А., Осокин Е.П.* “Социалистическая ориентация” сквозь призму социологического анализа // *Социологические исследования*. — 1990. — № 7.
58. *Clouds Over Hong Kong* // *The Economist*. — 1999. — August 14–20.
59. *Bell D.* From Mao to Jiang versus Market // *Dissent*. — 1999. — Summer.
60. *Cheng F., Gong T.* Party versus Market in Post-Mao China // *The Journal of Communist Studies and Transition Politics*. — 1997. — Vol. 13. — № 3.
61. *Kivelson V.* Autocracy in the Provinces. — Stanford, 1996.
62. *Khodorkovsky M.* Of Christianity, Enlightenment, and Colonialism: Russia in the North Caucasus, 1550–1800 // *The Journal of Modern History*. — 1999. — Vol. — 71. — № 2.
63. *Keller S.* Beyond the Ruling Class. — New York, 1963.
64. *Топоров В.Н.* О ритуале. Введение в проблематику // *Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках*. — М., 1988.
65. *Castoriadis C.* Recommencing the Revolution // *Political and Social Writings*. — Minneapolis, 1993. — Vol. 3.
66. *Castoriadis C.* The Evolution of the French Communist Party // *Political and Social Writings*. — Minneapolis, 1993. — Vol. 3.
67. *Jowitt K.* Really Imaginary Socialism // *East European Constitutional Review*. — 1997. — Vol. 6. — № 1.

68. *Sperry E.* An Outline of the History of Clerical Celibacy in Western Europe to the Council of Trent. — Syracuse; New York, 1905.
69. *Ларуев В.* Украинский путь: Соединить азиатское прошлое с евроазиатским настоящим во имя европейского будущего // Зеркало недели. — 1999. — 23 августа. — Internet version. <www.mirror.kiev.ua>.
70. *Tilly C.* State Making and War Making as Organized Crime // Bringing The State Back In. — Cambridge, 1985.
71. *Schmidt J.* Civil Society and Social Things // Social Research. — 1995. — Vol. 62. — № 2.
72. The Marx–Engels Reader. — New York, 1978.
73. *Castoriadis C.* The Role of Bolshevik Ideology in the Birth of Bureaucracy // Political and Social Writings. — Minneapolis, 1993. — Vol. 3.
74. *Jowitt K.* The Leninist Extinction // The Crisis of Leninism and the Decline of the Left. — Seattle, 1991.
75. *Hirschman A.* Exit, Voice and Loyalty. — Cambridge (Mass.), 1970.
76. *Hann C.* The Nation State, Religion, and Uncivil Society: Two Perspectives from the Periphery // *Deadalus*. — 1997. — Vol. 126. — № 2.
77. *Geertz C.* Negara. — Princeton, 1980.
78. *Coulter J.* Why I Am Not a Right–Winger // *New Political Science*. — 1988. — Vol. 20. — № 1.
79. *Shifter M.* Colombia on the Brink: There Goes the Neighborhood // *Foreign Affairs*. — 1999. — Vol. 78. — № 4.
80. *Jacoby T., Siegel F.* Growing the Inner City? // *The New Republic*. — 1999. — August 23.
81. *Fukuyama F.* Second Thoughts // *The National Interest*. — 1999. — № 56.
82. *Gallagher T.* Ceausescu’s Legacy // *The National Interest*. — 1999. — № 56.
83. *Wallerstein I.* Geopolitics and Geoculture. — Cambridge, 1992.
84. *Hay C.* That was Then, This is Now // *New Political Science*. — 1988. — Vol. 20. — № 1.